

ИСТОРИЯ  
РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА

ПАВЕЛ  
ЗАГРЕБЕЛЬНЫЙ



ЕВПРАКСИЯ

*ЭР*

Библиотека проекта «История Российского государства»

Павел Загребельный

**Евпраксия**

«Издательство АСТ»

1975

## **Загребельный П. А.**

Евпраксия / П. А. Загребельный — «Издательство АСТ»,  
1975 — (Библиотека проекта «История Российского государства»)

ISBN 978-5-17-085718-0

Библиотека проекта «История Российского Государства» – это лучшие памятники мировой литературы, в которых отражена биография нашей страны, от самых ее истоков. Продолжает Библиотеку легендарный роман Павла Загребельного «Евпраксия». Это история русской княгини, девочкой-подростком очутившейся на чужбине и отданной в жены немецкому маркграфу. Самым невероятным образом Евпраксия стала королевой Священной Римской империи Адельгейдой... Роман Павла Загребельного – увлекательное художественное исследование человеческих судеб, каждая из которых не утратила значение и сегодня.

ISBN 978-5-17-085718-0

© Загребельный П. А., 1975

© Издательство АСТ, 1975

## Содержание

Без надежды на возвращение	5
Летопись. Дополнение	9
Чеберяйчики	12
Летопись. Напоминание	16
Чучела	19
Летопись. Разоблачение	24
Перемена	27
Летопись. Удивление	31
Летопись. Забытое	35
Набег	36
Летопись. Генеалогия	38
Шестилетие	40
Летопись. Императорская	45
Шестилетие (продолжение)	48
Летопись. Императорская	57
Конец ознакомительного фрагмента.	58

# Павел Загребельный

## Евпраксия. Наложница порочного императора

### *Исторический роман*

*Поруганіє же є слово лицемірно,  
От супротивного супротивное явленіє являє;  
Поруганіє же образі д: поруганіє,  
Похухнаніє, поіграніє, посміянніє,  
і проуганіє єсть слово с укором глаголемо...*

«Ізборник», 1073

*Тільки й єсть у нас ворог —  
Наше серце.  
Благословіть, мамо,  
Шукати зілля.  
Шукати зілля на  
Людське божевілля.*

*П. Тычина*

## Без надежды на возвращение

Неожиданно открылся ей ужас колес. Непрестанное, безжалостное, упрямое вращение. Молчаливая безнадежность движения. Ехала, ехала, ехала... Куда, зачем?словно изгнанный дух, затерянный в просторе, обреченный слоняться, блуждать, бродить, не в состоянии остановиться, пустить корни. Человек создан на земле сидеть или ехать вот так, невесть куда и зачем? До сих пор Евпраксии казалось, что вся ее прежняя двенадцатилетняя жизнь – словно добрые колеса, переезды из Чернигова в Переяслав и в Киев, а там с одного княжеского двора на другой, но то была езда с надеждой, с возвращениями, там всегда над ней было нежное небо детства, была земля и зеленые травы, была мамка Журина и ласковые чеберяйчики, невидимые, но вездесущие – теперь все это оставалось, безнадежно и безвозвратно, позади, а жестокие колеса безжалостно, в тупом упрямстве отвозили ее дальше и дальше от Киева, от всего родного, от земли и неба, и дороги стлались враждебные и немые, земля не принадлежала ей, она не принадлежала земле, оставляла навсегда мир детства, а может, то детство покидало ее, отрекалось от нее. На Евпраксию обрушивалось темное неистовство, она билась в княжеской повозке, пытаясь в клочья разодрать драгоценную свою одежду, кричала на Журина, замахивалась на нее маленькими кулачками, потом заходила в бессильных рыданиях. Куда везут ее? Зачем и почему? Как хотела она остаться и каким отчаянием наполнялось ее сердце от мысли, что невозможно возвратиться. Поедешь – не вернешься. Никогда, никогда, никогда!

Заливались в небе радостно жаворонки, кричали в вечерних травах коростели, квакали в теплой воде лягушки, скрипели колеса, тревожно ржали кони, верблюды отчаянно ревели, отдаляясь от привычных сухих степей.

Раздраженно кричали погонщики. Звенела оружием киевская дружина, которую великий князь Всеволод выделил сопровождать княжну Евпраксию.

Переключались меж собой саксонские рыцари, посланные маркграфом Генрихом Штаденским для охраны его невесты, которую звали теперь уж не Евпраксией, а Пракседой, как это водится у латинян. А она не слыхала ничего. Дорога пролегла перед нею, безнадежная, бесконечная и немая. Все дороги будут немymi, если покинешь родную землю.

Княжну везли на волах медленно и осторожно, как пиво, чтобы не взболтать. Повозка, запряженная шестью белыми волами, с подвешенной на ремнях из крепчайших воловьих шкур коляскою, что извне кована серебром, внутри же устлана восточными коврами (на белом фоне – зеленая путаница трав, ветви и пурпурные цветы). Обозу не было ни конца ни края. Дружина конная и пешая, саксонские рыцари, священники – киевские и саксонские, княжеские коморники, гридни, прислуга, повозки конные, воловьи, двухколесные возы, запряженные невиданными в этих землях и страшенно смердящими верблюдами, кони, ослы, верблюды под тороками – сила, богатство, роскошь, пышность.

Коморники скакали впереди бесконечного обоза, чтобы на княжеских поселеньях приготовить надлежащий ночлег княжне Евпраксии. Там разжигали вокруг костры, светили в осаде лучины и свечи, а дорога все равно была для нее темной. Мокрые леса насмехались над ней, перебегая впереди обоза с места на место, затевали какую-то бешеную круговерть, будто великаны зеленые колеса безнадежности, и тогда Евпраксия не выдерживала, повелевала остановить повозку, прыгала на землю, становилась обыкновенной двенадцатилетней девочкой, хотела куда-то идти, бежать одна, без никого, остаться наедине с миром, с ветрами и небесами. И тут же с горечью убеждалась, что у нее только и осталось – земля под ногами, и такая скользкая, что невольно казалось: мир вот-вот растворится здесь, на этой дороге, исчезнет. В отчаянии Евпраксия снова заходила в рыданиях, падала оземь, и тогда мамка Журина наклонялась к ней, гладила ее мягкие, словно дым, волосы и тихо говорила:

– Дите мое, жена еси...

Два исповедника, оба конные, оба с мечами напоказ (кресты спрятаны где-то под черными одеяниями) – один из Киева, бородатый, зарос пышной щетиной, другой из Саксонии, стриженный и выбрит гладко, что твой угорь, – вырастали возле лежащего ребенка, с целью утешений, ибо для одного девочка была княжной, а для другого женой его властелина – маркграфа, и оба испытывали беспомощность собственную и своего бога, бормотали растерянно: «Все, что от природы, совместимо с волей божией» (тот, что из Киева), «*Lamentes et flentes* – со стоном и плачем» (тот, что из Саксонии).

А бесконечный обоз тем временем упорно и неуклонно продвигался вперед и вперед по едва обозначенным дорогам; оставались позади затаившиеся в пущах четырехликие древние боги-идолы, умирали четырехсолнцевые размеренно-степные дни, умаялись четырехветровые русские небеса.

Утомительно-пугливое просонье стряхивало шепот с трав, мир окутывали туманы, такие плотные, что в них не летали даже ангелы, а то внезапно раздиралось небо и падали на землю бури, в неистовых порывах разметывали все вокруг себя, и тогда Евпраксия молилась в душе какой-то неведомой силе, чтоб и впрямь все исчезло, ничего не осталось, а она чтоб очутилась дома, в Киеве, на Красном дворе, возвратилась туда, куда нет ей возврата.

И тогда небеса зацветали слезами, и ветры хохотали и бесновались, и над всем царило безнадежно-убийственное движение колес.

Еще дитя, а уже ведь и жена. Чем больше удалялись от Киева, тем меньше и меньше должно было оставаться в ней от детского мира, а вместо этого нахально врвался в душу мир

взрослый, порожденный этим безостановочным продвижением вперед и вперед, обновлением и сменой пространств, барахтаньем меж днями и ночами безбрежного моря времени.

Безбрежного ли? Даже не оглядываясь, видела Евпраксия киевский берег своего путешествия, золотые купола великого города, слышала звон колокольный и крик людской, дрожала в людской суете среди тех, кто хотел как можно скорее протолкаться к трапезе и к дарам, которыми щедро сыпал великий князь киевский Всеволод в честь помолвки своей дочери Евпраксии.

Свадебный обоз в далекую Саксонию начинался у Золотых ворот.

Предусмотрительно собранный и заготовленный, он еще где-то укрывался до поры до времени на киевских площадях и в киевских проездах, а первой должна была покинуть Киев, пройти сквозь Золотые ворота она, молодая княжна, дитя недорослое, а уже и жена какого-то неведомого маркграфа, богатства, могущества и наглости которого хватило, чтобы посягнуть на ее руку.

Князь и княгиня, верховные иереи церкви, мужи киевские, старшие и младшие, расположились на забороле у надвратной церкви; визжали рога, гремели котлы, крик бил в небо, а небо откликалось медным эхом колоколов, когда Евпраксия двигалась через Золотые ворота. Княжеское достоинство не позволяло ей идти пешком, ехать верхом приличествовало мужам, волов украшали для преодоления тоски и тяжести последующего длинного странствия, тогда как же должна была покинуть вельможная невеста главный город земли своей? Ее вынесли в открытой золоченой лектике в виде кораблика с резным носом и круто стесанной кормой; лектику несли восемь силачей-сорокоходов, несли легко, ловко, без малейшего покачивания, так что Евпраксия не сидела, а стояла посредине носилок, не прикасаясь к стенкам и ни за что не держась руками, – стояла в отчаянно-торжественном оцепенении.

С киевского вала, с заборола, будто с самого неба, летели на нее цветы и венки; цветы устилали дорогу, они росли позади, отгораживали Евпраксию от Киева, возможно и навеки. Ни оглянуться, ни заплакать, ни закричать в отчаянии...

А там уж начинал выходить из города и обоз – одна половина через Золотые ворота, другая через Жидовские, обе вскоре соединились на Белгородской дороге. Евпраксия перешла из лектики в окованную серебром пышную свою повозку, белые волю с украшенными рогами, спокойно жуя жвачку, потянули драгоценный груз. Все потонуло в облаках пыли, мир исчез с глаз несчастной девочки, и тогда впервые вспомнила она про свою власть и в первом приступе ярости закричала:

– Наперед хочу!

К Белгороду подъезжала впереди своего обоза, и мост через Ирпень первыми перешли шесть белых волов, тащивших серебром окованную повозку; дальше обоз должен был продвигаться таким же образом, с той лишь разницей, что под вечер опережали его коморники, чтобы приготовить ночлег, да пошаривала по обеим сторонам дороги дружина, предотвращая внезапные нападения. Всегда ведь найдутся, и немалым числом, охотники поживиться, а про обоз княжны Евпраксии во все концы уже разлетелись слухи, удивления и восторги, да такие, будто таились там красота и богатство со всей земли русской: меха соболиные, бобровые, горностаевые, черных куниц, песцов, белых волков, груды золотых полос и пенязя золотой и серебряной утвари, дорогого оружия, украшенного самоцветами; а золота, мол, на возах и в тороках, как листьев осенью, а еще было бесчисленно всякого съестного припаса, прославленного пива пшеничного, без которого славянской душе неведому прожить хотя бы день; гнали целые табуны говяда на убой, отары овец, вели сотни скакунов, за каждого из которых можно купить целое село, везли корчаги меду, круги воска, шкуры, полотно, шерсть; тут хватило бы на беззаботно-роскошную жизнь не одной вот такой тоненькой девочке, а тысячам людей.

Вминалась под обозом земля, пыль застилала полсвета, по ночам сотни костров устремлялись навстречу звездному небу; в болотах и топях стлали на скорую руку мосты, а когда

из-за неожиданных ливней внезапно создавались заторы, тогда вязли волы и кони, тонули возы, мучились без меры люди, проклиная и далекую дорогу, и князей, и самого господа бога. А бородатый исповедник молодой княжны, не отваживаясь попрекать измученных людей за богохульство, смиренно ронял взятые из священной книги слова, до сути которых не мог докопаться никто: «Проклинайте землю Мероз, пропроклинайте землю Мероз!»

Что за земля, где она и когда была такая – кто же о том ведал?

Евпраксии представлялась она Саксонией, той Нордмаркой, которой владел теперешний ее муж граф Генрих Штаденский – незнакомый и враждебный, чужой, как слово «Мероз». Проклинайте землю Мероз, прокляните, прокляните поселенцев ее...

Хотя окованная серебром повозка была тяжела, шестеро белых волов тащили ее дружно и упрямо, погонщики подобраны были умело и предусмотрительно, но все же и они неминуемо должны были утомиться от далекой дороги; однообразие движения притупляло бдительность, и однажды на непробитых путищах среди темных пущ повозка попала в трясины. Сначала никто, в сущности, и не заметил этого, волы барахтались в трясине, погонщики дружно покрикивали на них, надеясь вырваться на твердую землю, но вот, словно вдруг увидели погонщики, что когда-то ослепительно белая шерсть на волах все плотней и плотней покрывается грязными брызгами и потеками, высокие колеса все глубже и глубже уходят в ненасытную топь, а княжна тем временем, не боясь болота, не ведая страха перед сумерками, которые уже надвигались, не заботясь об измученных, обессиленных до предела людях, смотрела на их старания, будто на развлечение, хлопала в ладоши, то и дело обращаясь к мамке Журине, чтобы спросить о чем-то, а потом неожиданно княжну охватил приступ гнева, ей опротивели все, и она велела всем до единого убраться прочь отсюда, выпрячь волов, оставить ее одну с мамкой Журиной, потому что она хочет ночевать вот здесь, среди трясины, заброшенная в пущу, затерянная среди непролазных путищ, одна под небом, под луной, под звездами, как ночуют и вечно живут чеберяйчики.

– Правда, чеберяйчики живут так? – спросила она у мамки Журины.

– И так живут, дите мое, – вздохнула Журина, хорошо понимая, что прихотям Евпраксии нет пределов и поэтому не следует и противиться им.

Вдвоем остались они в богатой повозке, светила с неба огромная страшная луна, от болот тянуло пронизывающим холодом, от которого не спасали ни толстые ковры, ни мягкие меха, потому что мерзло уже и не тело только, – сама душа мерзла.

## Летопись. Дополнение

Позоров в летописи не заносили.

Если же и написано было, что Святослав прижил сына с рабыней Малушей, то не усматривалось в этом ничего оскорбительного, потому что известно ведь всем, кому нужно: рабыня та – из княжеского рода, дочь древлянского князя Мала, укрощенного беспощадно-мстительно княгиней Ольгой, которая отторгла Мала от его удельных Дерев и, пленив, заперла доживать век свой в Любечи – вроде бы князь и одновременно раб, а дочь, выходит, рабыня.

И если написано было, как Владимир, убегая от печенегов, растеряв в стычке всю свою дружину, спрятался от смерти под мостком в Васильеве, то считалось это не позорной трусостью, а лишь находчивостью и хитростью великого князя, а хитрость в те времена ставилась чуть ли не выше ума и отваги.

И если упоминалось о хромоте Ярослава, то не для принижения естества, а лишь для лишнего и недвусмысленного напоминания, что князь тот хром был естеством, но не духом.

Почтительность водила рукой летописца даже тогда, когда рассказывал он о бегстве из Киева Ярослава сына Изяслава, изгнанного киевлянами явно позорным образом потому, что не давал людям оружия для защиты от половцев.

Зато промолчал летописец, как Изяслав, слоняясь по Европе, выторговал ценой земли своей и народа своего возможность вернуться в Киев и дошел этаким постыдным торгом и до германского императора Генриха, и до папы Григория.

Может быть, летописец плакал от позора, стыда и унижения, но никто не видел тех слез.

Поэтому и не следует удивляться, что никто из летописцев не отважился заострить перо, развести черное железо для неистребимых чернил и записать на коже телячьей, ягнячьей, а то и ослиной, что лета тысяча шестьдесят восьмого князь Всеволод, «пятыязычное чудо», любимый сын Ярослава, внук Владимира, правнук Святослава, зять ромейского императора Константина Мономаха, отец двух детей от ромейской царевны, – сына Владимира, прозванного в честь вельможного деда Мономаха, и дочери Анны, именуемой в народе просто Янкой, – что этот, стало быть, отмеченный высоким происхождением и не менее высокими семейными связями князь после смерти своей первой жены возьмет себе в жены не принцессу, не сестру императорскую, не дочь королевскую, княжескую или боярскую хотя бы, а простую переяславскую девушку, дочь веселого человека Ясеня, который сидел себе вдали от княжеского двора, в подчревии Переяслава, пропадая в недостойном унижении, неизвестности и никчемности, ведомый людям тем лишь, что строгал детские зыбки.

Ясень был вельми веселый человек, но в летописях напрасно искать упоминаний о веселых людях, ибо известно, что только равные смеются среди своих, а летописи слагались для последовательно упрямого прослеживания и утверждения человеческого неравенства, которое неминуемо сопровождается торжественностью и чрезмерной степенностью.

Простой человек, что строгал зыбки, не пытался выяснить, что там означает его веселый нрав, он просто унаследовал от предков обычай весело проводить зиму, и старый год, и смерть, и нужду, радостно встречать весну, сытые дни, когда колют свиней, режут говьяда или охотятся на крупного зверя. Не следует прибегать к предположениям, будто Ясень должен был непременно осознавать, что за смехом никогда не скрывается насилие, что смех не вызывает крови и пламени, что это лицемерие и обман никогда не смеются, а всегда напяливают маску солидности, что смех знаменует не страх, а утверждение той силы, которая происходит от плодородности земной, от рождений и вечных обновлений, от яств и питий вдоволь, что, в свою очередь, способствует бессмертному продолжению поколений с деда-прадеда.

Где там! Ясень был очень далек от подобных глубокомысленных раздумий.

Он просто напевал, посмеивался в светлую, словно ясеневая стружка, бороду и строгал зыбки. Он знал, что зыбку нужно делать из дерева белого и легкого, как сон, и – веселого, чтобы легко и счастливо росли в этих колыбелях воины, хлеборобы, люди смышленные, ловцы, простые люди и князья, глупые и гении, пустомели и косноязычные. Правда, известно было Ясеню и то, что с течением времени даже самое светлое дерево тускнеет, видел он колыбели старые и темные, как века, но с тем большим запалом строгал новые, светлые и веселые, приговаривая: «Нам лишь бы зыбки, а детей мы наделаем!»

Про Ясеня можно бы и не вспоминать, ибо работе его суждена была безымянность, как и всему, что идет людям в повседневное употребление, а сам он, хотя и стал (совершенно случайно, как про то уже упоминалось) сватом князю Всеволоду (в дальнейшем и не просто князю, а великому киевскому князю), никогда в княжеский двор допущенным не был; Ясенева родная дочь отвернулась от отца, и кто-то выдумал потом, будто она не какого-то там неизвестного переяславского, а славного половецкого колена, от хана Осеня. Безжалостное время брало свое, и в дальнейшем никто уже не мог разобраться, Ясень или Осень. Всеволодово же имя таким образом сохранили от унижения перед потомками за сей странный брак.

Собственно, стоило ли ему особо удивляться, если припомнить, что первой женой у Всеволода была ромейская царевна Мария Мономаховна, и от нее, стало быть, просто благодаря своей врожденной любознательности князь ведал, как устраивались браки императоров греческих. Доверенные люди императора разъезжались во все концы, собирали со всего безграничного государства самых красивых девчат, заботясь, само собой разумеется, о знатности рода, но каждый раз делая исключение для особо красивых; свозили этих девчат в Царьград, ставили их пред светлые очи всемогущего василевса, и он уже сам избирал ту, чью голову должна была украсить золотая диадема императрицы. Переяславская земля – это не империя ромеев, рассылать бесчисленное множество гонцов тут и некуда: за день один всадник может проскакать по всем селам и городкам и высмотреть все, что нужно.

Поэтому Всеволод искал себе жену способом почти таинственным, без лишнего разглашения и без лишних свидетелей. Собирал девчат-переяславок княжеский любимый дружинник, красавец Жур. Он и нашел Ясеневу дочь Ясю, которой суждено было стать княгиней Анной, для себя же заприметил в далеком лесничестве возле Днепра девушку еще красивей Яси, но до поры до времени скрывал ее от князя. Жениться сразу после князя Жур не успел, потому что на русскую землю напали половцы, великий князь Изяслав позвал своих братьев Всеволода и Святослава идти против степняков, на Альте была битва, княжеские дружины не устояли, побежали, князья побежали тоже аж до Киева, и вот тогда и произошло позорное изгнание Изяслава из Киева простым людом, который хотел защищать русскую землю от пришельцев, а князь боялся доверить народу оружие. Бежал великий князь Изяслав с сыновьями и великим обозом, бежал Всеволод с молодой своей княгиней. Изяслав ударился на запад, искал убежища у польского князя Болеслава, а Всеволод очутился в Курске, в вотчине брата Святослава, потому как в Переяславе не чувствовал себя в безопасности ни от половцев, ни от киевлян, посадивших на стол полоцкого князя Всеслава, перед тем выпущенного ими из поруба, в котором держал его Изяслав. Сына, Владимира Мономаха, Всеволод послал с дружиной в Ростов, а сам то снова возвращался в Киев, встречать старшего брата Изяслава, вернувшегося после изгнания и учинившего кровавую расправу над киевлянами, то бегал к брату Святославу, с которым стоваривался прогнать Изяслава из Киева, может, и навсегда, раз тот не сумел надежно держаться на столе великого Ярослава, их отца, не навел порядка в земле своей, не избавил ее от половцев, а мстил киевлянам, да еще до такой степени, что даже Антоний Печерский вынужден был бежать к Святославу в Чернигов.

В то время как Изяслав заботился лишь о том, чтобы вернуть себе киевский стол, для чего привел с собой полки польского князя Болеслава, Святослав в одиночестве с малой дру-

жиной разбил возле Сновска двенадцать тысяч половцев и стал славен в земле своей. Всеволод, хотя при жизни Ярослава считался умнейшим из сыновей и был любимейшим чадом великого князя, теперь никак не мог найти себе места, ведь уже и сын его, Мономах, становился славнее собственного отца; жизнь Всеволода нарушилась после смерти первой жены, он метался туда и сюда, бегал из волости в волость, нигде не мог нагреть места, бросался то к Изяславу, то к Святославу, но старший брат сам, может, и был, как про то говорит летописец, добрым человеком, но сыновей имел злых, в особенности же старший Мстислав не любил никого и ничего на свете, а тем самым не любил и своего высокоученого стряя. Святослав же, выказывая, когда нужно, храбрость, сумел-таки подговорить Всеволода против Изяслава; младшие братья пошли на Киев, стали сначала в Берестове, а когда Изяслав оставил стольный город, Святослав перешел в Киев, а Всеволоду отдал Чернигов.

Во время этих метаний родила новая княгиня Всеволоду сына Ростислава и дочь, которая была названа по-гречески Евпраксия, что означало:

«Счастливая».

Дружинник Всеволод Жур, хотя и с некоторым промедлением, все-таки сумел улучшить минуту и вывезти из надднепрянской пуши ту огнеокую девушку, которую заприметил, когда искал жену для своего князя. Девушке той податься было некуда, она сидела в глухом лесничестве и ждала, пробьется ль кто-нибудь сквозь пушу, чтобы умыкнуть ее для жизни в широком мире. Жур пробился однажды, увидел, влюбился, поцеловал, велел ждать, потом пробился еще раз, посадил на коня – и вот уже гибкая чернявая лесовичка стала Журиной, и вот уже родила дружиннику сына, которого назвали, чтоб не ломать особо голову, Журилом.

И то ли заприметил слишком красивую жену дружинника неравнодушный к красоте высокоумный князь Всеволод и пожелал иметь ее всегда перед глазами, то ли свежеиспеченная княгиня Анна обленилась за эти три года настолько, что начисто забыла о своем происхождении, о своем веселом отце Ясене, обычаях своих предков, забыла и о выкормленном ею первенце, сыне своем Ростиславе, – как бы там ни было, но только случилось, что Журину взяли в княжеский бабинец кормилицей к маленькой Евпраксии, и вот маленькая княжна, подрастая, будет называть Журилу «братиком», как и старшего княжича Ростислава, а простую дружинницкую жену Журину – «мамой», в то время как свою подлинную мать Анну – «княгиней». Ибо не та мать, что родила, а та, что выкормила.

## Чеберяйчики

Все дальше и дальше едет Евпраксия, направляясь в какую-то неизведанную даль и оставляя все знакомое до всхлипа в горле, оставляя свое детство, самое себя. А что же тогда она везет?! И кто возле нее и что впереди?

Генрих Штаденский, названный муж, далекий и пока неведомый, прислал, кроме исповедника, который должен быть также и за толмача, еще небольшой отряд из шести воинов и седьмого воеводы, высокого, вельми спесивого, хотя и привлекательного лицом, Рудигера. Краснорожие саксонцы наливались пивом по самые брови – они так и липли к телегам с бочками, пили и чавкали от самого Киева без передыху, чавкали даже во сне, кряхтели от удовольствия, не могли нахвалиться киевским пшеничным пивом, да еще не простым, а княжеским, ибо ясно же – коли везешь княжну, то и пиво получаешь соответственное. Рудигер, совсем молодой, возможно, даже стеснительный где-то там в глубинах души, внешне старался никак не отстать от кнехтов, точно так же упиваясь пивом до рези в пузыре, что-то кричал самодовольно, безмерно важничая.

Киевские дружинники, числом восемь, данные Евпраксии для сопровождения в далекую Саксонию, то и дело посмеивались над перепившимися саксонцами и лукаво напевали:

Котилося яблучко до города,  
А хто ж його взяв? Воевода!

Намекалось здесь на того графа, который вынюхал в дальней дали красивое дитя Всеволода – дитя сравнивалось с яблоком, а граф, за отсутствием в песне настоящего ершистого слова, назван был по привычке воеводой. И настоящий воевода Кирпа, поставленный над дружинниками, не принимал песни на свой счет и в мыслях не имел обижаться, потому что принадлежал к людям характера незлобливому, можно бы сказать даже – веселого, коли можно применить такое слово к его суровому, подчас даже жестокому житью-бытью.

Кирпа достался князю Всеволоду от князя-смутьяна Олега Святославовича, отбив с тем своим князем все странствия и приключения, которые выпали на долю Гориславича (как называли Олега в народе), но все это было когда-то, все это лежало за пределами памяти маленькой Евпраксии.

Она ведь могла воспринимать людей из своего окружения или как что-то надоедливое, или как что-то приятное, не видела за ними ничего больше, кое-кого и вовсе не замечала – они были для нее не людьми, а словно теньями. Рудигера знала, должна была знать, потому что он представлял самого графа Штаденского при торжественном обряде покладин и даже целовал ее тогда от имени далекого мужа под пьяные крики свидетелей княжеских. А Кирпа был в глазах Евпраксии просто смешным человеком.

Невысокий, мосластый и весь какой-то перекошенный, одна рука свисает чуть ли не до земли, другая согнута в локте, вскинута будто из-за плеча, замахивается мечом иль секирой, а плечища тоже вперекос просто распирают корзно, глаза светлые, в пятнышках, будто птичье яйцо, нос длинный, рот великоватый и в улыбке открывает все зубы, которые есть, да к тому еще зубы у него крупные, крепкие, какие-то словно бы веселые, что ли, самой хочется засмеяться, взглянув на Кирпу.

Евпраксия допытывалась у Журины:

- Он чеберяйчик?
- Дите, то ж воевода Кирпа.
- А каковы чеберяйчики?

Про чеберяйчиков ей рассказывала Журина. Давно-давно. Может, рассказывала она и не для Евпраксии, а для своего сыночка Журилы, но Журило теперь в Киеве, он принят после пострижения в княжескую дружину в знак особой милости Всеволода, а молодая мать должна была поехать на чужбину с не своим «дитем» – вот так и остались чеберяйчики только им двоим, и остались, может быть, ради хотя бы малого их утешения.

Но только каковы же они, чеберяйчики? Неужели они не похожи на вечно веселого воеводу Кирпу? Евпраксия не давала Журине покоя:

- Расскажи про чеберяйчиков.
- Да я уж рассказывала.
- Каждый раз неодинаково!
- Потому что и чеберяйчики неодинаковые.
- А в этих лесах и травах они есть?
- Должны быть, дите мое.
- И повсюду будут?
- Пока будем ехать по земле русской.
- А потом?
- Потом не будет.
- Там мы их покинем?
- Или мы их, или они нас, дите мое.
- А я не хочу! Не хочу! Остановиться всем! Дальше не поедem! Не велю!

И обоз останавливался, стоял и день, и два, выходили к нему местные люди, несли маленькой княжне цветы, мед, напевы, любовь, а она смотрела на них изумленно и в отчаянии хваталась за Журину.

– Это не чеберяйчики?

В землях, расположенных неподалеку от Киева, навстречу княжне звонили, били в била, гудели рога, бояре встречали на меже своих вотчин с приглашениями и угощениями, священники выходили с молитвой, люд провожал ребенка-княжну слезами, дарами и зелеными венками.

Когда по прихоти Евпраксии обоз задерживался в лесных чащобах, приветствовать княжну или просто посмотреть на нее шли смолокуры, углежогы, лесовики, бортники, косари, лыкодеры, дровосеки – несчастные, ободранные, но такого доброго вида, что девочка невольно принимала их за чеберяйчиков, мягчала душой и велела ехать дальше.

А дальше пошел люд не то чтобы равнодушный, а просто темный. Какого мы князя? А кто же о том ведает? Княжна киевская проезжает по нашим пушчам?

Пускай себе проезжает.

Были незаметны и вроде неприступны, будто в самом деле чеберяйчики.

Ведь чеберяйчиков тоже никто никогда не видел, хотя и ведомо, что живут они в лесах и среди трав. Пастухи могли видеть? Но пастухи – от природы ленивые иль по привычке, потому они и не встречают никогда чеберяйчиков, хотя вечно ищут отбившуюся от стада скотину.

А существуют ли вообще чеберяйчики и какие тому доказательства? Они существуют больше, чем что бы то ни было. Можно даже утверждать, что они вечные, потому что рождены фантазией. Человек умирает, а дом, сделанный им, стоит, и песня, сложенная им, поется тысячу лет, и сказка живет испокон веков. Создания мысли и фантазии живут дольше человека. И правда о человеке точно так же существует дольше, чем сам человек.

А какова же она, правда о чеберяйчиках?

Считается, а может, это наверняка, что чеберяйчики все одинаковы.

Увидеть одного – одинаково, что увидеть всех. Поэтому никто не может сказать, умирают они или живут вечно. Они просто есть. Не живут и не умирают, а присутствуют на этом свете всегда, как правда и мечта. Ибо что значит жить? Идти неминуемо к смерти. Умирать во вре-

мени, двигаясь вместе с ним. Для чеберяйчиков время не движется. Вечность неподвижна, как вода в пруду. Всегда – и ныне. И наоборот: ныне – и всегда. Им присуще вечное сегодня, как богам, но они не боги, потому что никуда не идут и ни во что не вмешиваются. Им неизвестна торопливость, не знают они суеты, дрязг, все согласуют с солнцем, с луной, с временами года, с их постепенной сменой.

Вечный кругооборот.

Есть ли у них дети и взрослые? Никто не знает. Если не умирают, то нет старости, а если нет старости, то зачем расти? Наверное, они всегда молоды, ведь только молодые считают себя бессмертными.

Едят они хорошо и часто, как у князя, хотя и не работают. Что едят?

Может, росу, может, запахи цветов. Если так, то их знают хорошо пчелы.

Может, чеберяйчики и странствуют вместе с пчелами, перелетая с места на место, чтобы повсюду встречать людей, выглядывая из-под каждого гриба, из-под каждой ягодки, из-под каждого листочка.

Какая у них работа? Удивляться миру, его чудесам и богатствам, никогда не зная ни отдыха, ни усталости в этом удивлении. Еще – они разносят звуки. Эхо – дело чеберяйчиков. Они охотно подхватывают каждый красивый звук и разносят его повсюду. Если же звук им не нравится, они никуда не хотят его нести и он умирает. Скажем, хрюканье дика. Или ругань плохого человека. Или...

Есть ли у чеберяйчиков золото? У них есть даже то, что до времени скрыто от людских глаз. Все скрыто под землей и под водой, это самое лучшее укрытие.

Есть ли у них имена? Плачут ли они? Пугаются ли? Знают ли воспоминания и молитвы? Существует ли среди них любовь?

На это не может быть однозначных ответов. Потому что чеберяйчиков много, и они, хотя и одинаковы, в то же время разные. Одни все время ждут чего-то страшного, как мы – конца света. Другие смеются. Третьи плачут, четвертые тащат в свое жилище кусочки дерева, всякую мелочь. Пятые любят одеваться. Шестые любят раздеваться. Некоторые боятся темноты. Другие боятся тишины. А кое-кто не переносит одиночества. Но все это мудрые страхи. Хуже тем, кто с перепугу стал невидимым даже для самих чеберяйчиков. Тогда таким перепуганным вешают на шею колокольчики, чтобы их, по крайней мере, было слышно, если уж не видно.

Зимой чеберяйчики преимущественно спят. Ну-ка проснись среди снегов – умрешь от тишины и таинственности. Ведь мир хотя и удивительный, но таинственный, и с этим ничего не поделаешь. Не помогут ни молитвы, ни книги, поможет разве лишь язык. Они влюблены в язык. У каждого чеберяйчика собственный язык. Как они понимают друг друга? Называют каждый свое. Тот – цветок, тот – ручеек, тот – дерево. А потом рассказывают друг другу, обмениваются словами-названиями. И все называется неодинаково, но всем понятно.

Они безмерно терпеливы, лишены озлобленности, а если так, то и не выказывают своей власти. У них каждый делает, что хочет, нет послушности и покорности, а есть понимание потребностей.

Есть ли среди них глупые? Трудно сказать. Ведь глупые всегда молчат и ждут, чтобы им сказали, что следует говорить.

Есть ли у чеберяйчиков князья, тиуны, дружина, восминники? Если есть на самом деле кто старший над другими, то он каждый раз плачет, когда вынужден причинить кому-нибудь неприятность. А тот его успокаивает. Власть проявляется в желаниях, ну а у чеберяйчиков нет очерченных желаний. Если, скажем, кто-то из них хочет понюхать цветок, он никогда не знает, какой именно. Тогда для определения желаемого цветка собирается совет утонченных прихотей, в который входят чеберяйчики с нужным опытом и строго ограниченной фантазией. Ибо неограниченность недопустима, она ведет к испорченности. Может завести иногда слишком далеко. Прихоти же чеберяйчиков, какими бы неожиданными они ни были, возвращаются,

как известно, в установленном кругу привычек. Скажем, те, которые живут в травах, одеваются травами, питаются травами, лечатся травами, наслаждаются травами. Все очень просто. И каждый должен жить просто, как все чеберяйчики, только мудрее. Состязание в мудрости. А мудрость – это ограничение. Для того и существует совет утонченных прихотей. Власти у чеберяйчиков нет, ибо там над всем господствует мысль. Если же сталкиваются мысль и власть, то мысль, будучи от природы гибче власти, всегда сможет уклониться, выскользнуть и временами наделать беды. Лучше не допускать таких нежелательных столкновений. И для этого у чеберяйчиков существует совет утонченных прихотей. Но разве не так повелось, что лишь власть устанавливает, кто мыслит справедливо и по правде? Так, но не у чеберяйчиков. Правда порождает беспокойство, а они превыше всего ценят покой. Они дарят его людям. Может, ради этого и существуют в нашей земле.

А если ты покинешь свою землю, что тогда? Тогда чеберяйчики покинут тебя тоже.

И не заметишь этой страшной минуты, ведь ты никогда не видела чеберяйчиков.

Лишь через много-много лет великий поэт твоего народа первым увидит чеберяйчиков, а чтобы ему поверили, он назовет его... зайчиком:

Ой, на горе-горе  
Сидит зайчик.  
Ножками чеберяет,  
Ручками чеберяет —  
Чеберяйчик.

В самом деле: какие же ручки у зайчика? Чеберяйчик – и никто больше.

Но о поэте не могла тогда знать ни мамка Журина, ни Евпраксия.

Евпраксии хотелось забыть, что она княжна, – стать бы снова ребенком и поверить, что это чеберяйчики послали с нею вечно улыбающегося, беззаботного, с перекошенными плечами Кирпу. Тогда бы слышались не грустные напевы о том, как «отдавали молодую в чужедальную сторону», а лишь веселое покрикивание Кирпы, когда он проскакивал на коне мимо их серебряной окованной повозки: «Не журись, Журина!»

## Летопись. Напоминание

Князья яростно грызлись за власть и славу. Каждый был доволен собою и не заботился о том, доволен ли кто-нибудь им. Не боялись ни бога, ни черта, ни людских законов чести и совести.

Летописец должен был бы записать: «Князья грызлись за власть, аки волки». Но пугливое его перо не отваживалось на такое, выводило лишь:

«Бога забыли». Но ведь бог – на небе, а на земле – короли и князья. С позором изгнали киевляне Изяслава за то, что не смог защитить землю от чужаков, а вскоре он возвратился в Киев с войском польского князя Болеслава Смелого, отомстил киевлянам, в каждом из них и потом видел врага, возможно, и супротив родных братьев имел злые намерения, кто же о том знал? Зато брат его Святослав, сидевший в Чернигове, смекнул, что тот самый Болеслав польский еще с большей охотой помог бы добыть киевский стол ему, Святославу, ибо женой у него была дочь Святослава Вышеслава. Может, Святослав не просто думал о такой возможности, но и заручился словом Болеслава, может, натолкнула Святослава на такие мысли его молодая жена Ода, графиня Саксонская, – обо всем этом летописец мог бы ведать, но опять-таки трусливо смолчал, хотя со временем и вынужден был занести на пергамент: «Святослав же бе начало вигнанию братию, желая большее власти».

Святослав почувствовал силу, когда ему удалось, как об этом уже говорилось, с малой дружиной разбить возле Сновска двенадцать тысяч половцев. Тогда он позвал из Переяслава брата своего Всеволода, ученнейшего, тихого, богобоязненного. Встретил пышно, много хвалил Всеволода, хвалила его и княгиня Ода, рыжая белотелая саксонка, хвалили переяславского князя высокоученые мужи, которых Святослав собрал у себя в Чернигове для сложения «Изборника» всяческих мудростей; были устроены многодневные ловы, затем начались пиршествва, на которых восхваляли обоих князей и Антония Печерского, бежавшего из Киева от гонений Изяславовых, что распространились, выходит, не токмо на простых киевлян, но и на отцов церкви, людей святых. Святослав, круглолицый, с большими усами, с подстриженной бородой, чубатый, как варяг, наклонился к надушенному ромейскими благовониями Всеволоду, горячо шептал: «Разумная справедливость требует, чтобы сильнейшие были обузданы и чтоб благодаря тому привлекательность мира и тишины распространялась одинаково на всех.

Изяслав хочет лиха и нам, брат; ежели не опередим его, прогонит нас». «А что скажут люди?» – осторожно полюбопытствовал Всеволод. Хотел было еще добавить: «А бог?» – но Святослав не дал ему закончить, оглушил еще более жарким шепотом: «Люди? А что они говорили, когда я выступал супротив половцев? И что бы они сказали, если бы я побежал с поля под Сновском?»

Когда ты даешь им князя смиренного, они называют его никчемным; когда предлагаешь человека с характером гордым, зовут его спесивым; когда возьмешь непросвещенного, его засмеют; когда же, наоборот, князь будет ученый, как ты, его ученость заставит говорить, что он надут чванством; будет суров – его будут ненавидеть, как жестокого; захочет быть снисходительным – обвинят в чрезмерной слабости; простого станут презирать, как послушного пса; обладающего пронизательностью отвергнут, как хитреца; ежели он точен – назовут мелочным; ежели умеет прощать – обвинят в нерадивости; ежели у него тонкий ум – припишут празднословие; спокойного будут считать ленивым; умеренного, так и знай, назовут скупым; если будет есть, чтобы жить, прозовут обжорой; если же станет поститься, обвинят в лицемерии. Можно ли угодить людям?»

«А бог?» – все же сумел прорваться сквозь поток слов спокойный Всеволод. «Лишь то свято, что не может быть нарушено никакой враждой, – ответил уже спокойнее Святослав. – Изяслав же преисполнен враждебности ко всему, никому не верит, всех подозревает, после

того как прогулялся аж до Болеслава. Слишком далеко бегал, дабы мы с тобой, брат, могли сидеть теперь спокойно. Или ты предпочитаешь побежать еще дальше, чем бегал Изяслав?»

Братья объединились дружинами и пошли против Изяслава. Спокойно встали в Берестове, послали старшему брату требование: «Выезжай из Киева!»

Куда – не говорили: тот уже знал, как и куда бежать, когда выгоняют.

Разница была лишь в том, что сначала его изгонял простой люд, а теперь – князья-братья. Всеволод еще раз попытался было повести со Святославом примирительные разговоры, но тот в молчаливом присутствии своей княгини, которая, кажется, так и не заучила хотя бы одно русское слово, ответил своему высокоученому брату столь же учено: «Чем суровой истина, тем больше возмущает против себя тот, кто проповедует ее во всей обнаженности».

Святослав сел в Киеве, Всеволоду был отдан Чернигов, Изяслав побежал в Польшу, а затем – к германскому императору Генриху.

Дочери Всеволода Евпраксии было тогда всего лишь два года. Она была слишком маленькой, чтобы на нее тратили чернила и пергамент летописцы. Они упоминали о старшем брате ее, Владимире Мономахе, который уже к тому времени прославился отвагой и справедливостью, зато ничего не найдем о четырехлетнем брате Ростиславе и четырнадцатилетней сестре Анне, называемой просто Янкой.

Янка, как и Мономах, была от ромейской царевны Марии, потому и неудивительно, что уже восьмилетней обручили ее с сыном ромейского императора Константина Дуки, тоже Константином. Царская кровь должна была соединиться с царской же кровью. Ромейский царевич подрастал в далеком Царьграде, маленькая княжна ждала в Переяславе того мига, когда сядет на украшенную красную лодию под золотым парусом и поплывет за Русское море.

Вскоре пришли вести о смерти Константина Дуки – императора и о том, что василевсами провозглашены трое его сыновей – Михаил, Константин и Андроник, а поскольку они были малолетними, установлено над ними регентство матери – императрицы Евдокии. Так Янка получила возможность стать со временем одной из императриц при условии, если в Царьграде будут управлять три брата-василевса, чему подтверждение уже имелось в недалеком прошлом, во времена Ярослава, когда ромеями управляли братья-императоры – Константин и Василий Македоняне. Однако восьмилетняя Янка пробыла «императрицей» одно лишь лето, потому что престол в Царьграде захватил Роман Диоген, который вскоре попал в плен к туркам-сельджукам, после чего ромейский люд провозгласил василевсом уже не троих братьев Дук, а лишь одного Михаила; Константина и Андроника вместе с их матерью Евдокией отправили, чтоб не мешали и не учиняли раздора, в монастырь – действие опять-таки привычное для предшественников ромеев. Это произошло как раз, когда в Киеве была передрыга с возвращением Изяслава; Всеволод переживал смутные дни, не имел возможности позаботиться о своей двенадцатилетней дочери, да и что бы он мог поделать? Помолвленная с ромейским царевичем, ставшим теперь малолетним монахом, – получалось, тоже должна была посвятить себя богу, как требовало княжеское достоинство. Если бы тот ромейский царевич умер, она считалась бы вдовой несовершеннолетней, теперь же должна была разделить его участь. И как бы в возмещение такой тяжелой утраты для князя, в том же году родилась дочь Евпраксия от новой княгини.

Янка должна была бы возненавидеть свою сводную сестру с самого появления на свет, потому что имя «Евпраксия», то есть по-гречески – «Счастливая», кололо ей глаза, намекая на собственную судьбу, несправедливую и тяжкую.

Летописцу было не до душевных переживаний маленьких княжон. Он ведь не успевал проследить даже за тем, как металась по земле князья, как племянники грызлись с дядьями, как опустошались земли от рати и продаж, как горели города и нищали целые волости.

Летописец записал, что через три года после захвата киевского стола Святослав умер от болячки на шее, которую разрезали очень неудачно. После смерти тело Святослава было пере-

везено в Чернигов и похоронено в соборе Спаса – впервые киевского великого князя предали земле за пределами Киева, а игумен Печерский Стефан даже не велел поминать его в монастыре, ибо «через закон седищу на столе».

Вдова Святослава Ода возвратилась к себе в Саксонию, и вот через несколько лет, видно, вспомнив о маленькой Евпраксии, посоветовала родичу своему маркграфу Генриху Штаденскому сосватать киевскую княжну, соединив свое богатство с киевским.

Почему Всеволод, который тогда уже пять лет был великим князем киевским, согласился отдать дочь в жены человеку, может, и богатому, но все ж такому, что никак не мог быть ровней его дочери по значению и положению? Никто не знает о том, если же летописец и знал, то умолчал, выжидая, что из этого всего получится, и лишь потом, через много лет сделал запись в хартиях о смерти Евпраксии, когда после тяжких скитаний она возвратилась на родную землю.

Но где еще тот далекий год, а пока мы про иное: двенадцатилетнее чистое дитя должно в угоду и на радость кому-то ехать в дальнюю даль, и жизнь была полна слез и безнадежности; все, кто окружал девочку, были безмерно стары, весь мир словно бы состарился, а впереди могли ждать ее тоже лишь старость и безнадежность.

Ее назвали Евпраксией, что означало: «Счастливая», и теперь это казалось тяжелой насмешкой.

## Чучела

Был месяц июнь, месяц утраты чеберяйчиков, когда в лесах выкапывают кусты дивала и, распугивая чеберяйчиков, стряхивают корни, собирая червец. Из червца делается краска для сильных мира сего – для княжеских и королевских одеяний; червец собирают купцы и везут во все концы мира, в багровых нарядах будут красоваться те, кто оказался в состоянии купить эту краску, и никому не будет дела, как и где добывается червец, в какой нужде живет тот люд и какой возникает каждый год переполох, какие страдания переживают чеберяйчики, у них смерть каждого кустика, каждого стебелька отзывается болью и страданием.

Аббат Бодо, узконосый и остроокий исповедник и толмач Евпраксии, с трудом переносил невзгоды путешествия, в особенности же сетовал он на эту странную и дикую, как ему представлялось, землю. Лягушки мешали ему молиться, комары разъедали до костей, от болот, казалось, он уже вовсе ослеп, неизмеримые просторы, безбрежные пуши, своевольные реки – все это наполняло аббата Бодо покорным ощущением ничтожности своей и бессилия своего. Он отчаянно хватался за мысль о боге, но с ужасом чувствовал, что в этой земле не помогает даже бог; то ли утонул он в бездонных болотах, то ли заблудился в черных лесах, то ли был разметан неукротимыми могучими реками. Киевский исповедник должен бы страдать сильнее саксонского собрата, ибо один из них возвращался домой, в лоно своей церкви, в привычную и установившуюся жизнь, тогда как другой направлялся бог знает куда, оставлял родную землю, ехал в неопределенность и неизвестность. Но киевский священник, посверкивая золотым крестом на изношенных рыжеватых одеяниях, не очень размышлял о том, что ждет его впереди, – странствовал вместе со своей княжной охотно и словно даже весело, подобно странному косоплечему киевскому воеводе, который знал лесные ходы, умело разыскивал княжеские поселения возле мостов и на дорогах, и тут же по его знаку разводили там огонь, пекли хлебы, тотчас же ставили пиво. И воины у этого воеводы были какие-то простые и весело-доступные; саксонцы же отличались задиристостью, дерзостью, непокорливостью, а уж барон Рудигер, считавший себя во всем наместником графа Генриха, доводил аббата Бодо до крайней душевной истощенности. Саксонцы знай напивались и обжирались, допоздна сидели вокруг костров, извергали из уст своих всякую дрянь, хохотали от срамных рассказов, не стыдились даже служителя бога, сдерживались бы, может, перед женщинами, но в обозе, кроме княжны Евпраксии и Журины, не было ни одной женщины, чтобы не вызвать раздор среди мужчин. Аббат Бодо страдал безмерно. Брань и хохот, похвальба и чавканье, черные раскрытые рты, сверканье крепких зубов, громкий храп, смрад от немытых мужских тел, сладковато-тошнотворный запах конского пота, вздыханье волов, скуление псов, которых кусали блохи, рев верблюдов, туживших по сухим степям, – такими были ночи. А утром саксонцы по-звериному зевали, потягивались с треском в суставах, продирали глотки бранью и новой похвальбой. Рудигер напяливал сверкающий панцирь, цеплял драгоценные украшения и шел расспрашивать княжну, как ей спалось, и даже при этом вел себя невыносимо нагло. Княжна не обращала на это внимания, аббат же Бодо всякий раз пытался смягчить грубость Рудигера, ибо разве не к тому призваны служители бога на земле, чтобы все смягчать, трудное делать доступным, горькое – сладким – для высшей пользы?

Рудигер небрежно похлопывал аббата по плечу, отчего Бодо ежился и страдал еще больше, а нахальный барончик-недоросль направлялся к своим кнехтам, обдумывая какое-то развлечение на грядущий день – длинный, утомительный и невыносимый, если его не скрасить чем-нибудь.

В Киеве Рудигер замещал самого графа Генриха фон Штаде, одетый в золоченый графский панцирь, с украшенным драгоценностями мечом на поясе, с огромным немецким шлемом на согнутой в локте и выдвинутой чуть вперед левой руке, Рудигер предстал рядом с наря-

женной в багряные, тканые истинным золотом одеяния маленькой Евпраксией под церковное благословение, которое было словно и настоящим, но и не могло считаться совсем настоящим, ибо не сам ведь граф Генрих стоял в церкви святой Софии, а лишь его полномочный заместитель. По обычаю, властелину не надлежало выезжать за пределы своей земли ради женитьбы, равно как и невеста тоже не могла направиться к чужеземному мужу без особого предварительного свадебного ритуала. Вот и замещал властелина посол, который на определенное время должен был становиться как бы второй ипостасью хозяина. Рудигер, равный графу Генриху по возрасту, происхождению и богатству, охотно согласился совершить дальнейшее путешествие в Киев; будто настоящий жених, стоял в золотом посверкивании свечей в изукрашенной Софии, вместе с малолетней невестой осыпан был рожью, пшеницей и всякой пашницей; он принимал дары и вручал князю Всеволоду вено за Евпраксию, вкусно и умело пиршествовал с князьями и боярами, слушал песни про хмель и про «подушечку»; его и невесту отвели в княжескую ложницу, чтоб исполнить надлежащим образом обычай покладин, потому что брак будет считаться настоящим и завершенным и княжна сможет отправиться в дальний путь к мужу только по исполнению этого обычая.

Покладины считались осуществленными даже в том случае, если посол лишь коленом прикасался к ложу, но Рудигер захотел поваляться на княжеских перинах, застеленных парчой; он указал испуганной и растерянной Евпраксии на широкое ложе, бросил посредине обнаженный меч, завалился на перины прямо в панцире, и вот так лежали они некоторое время, разделенные лишь обнаженным мечом, – съезжившаяся и перепуганная двенадцатилетняя золотоволосая девочка, в одной сорочке из тонкого, почти прозрачного полотна, и долговязый барончик, закованный в железо, в грубых сапогах, с нахальной улыбкой на еще молодой, но уже изрядно заматеревшей роже.

Князь Всеволод, княгиня Анна, высокие гости, которые согласно обычаю пребывали в ложнице, вынуждены были молча и покорно видеть все это и делать вид радостный и восторженный, а Рудигер все больше входил в раж и попытался даже – спяну и по-свински – перекачаться через меч к Евпраксии, придавить ее слабенькое тельце своим беспощадным железом.

Но князь Всеволод тихо сказал: «Довольно!» Сказал тихо, но так, что барон мигом вскочил с ложа. Киевский князь славился образованностью, его хвалили за доброту, за любовь к святостям, и к людям святым, и к церквям с монастырями, однако тот, кому нужно было знать, ведал еще и о том, как при этом князе, охотно перенимавшем ромейские обычаи, выжигали глаза непокорным, как выламывали зубы тем, кто не придерживался установленного церковью поста, как раздирали людей между деревьями, как топили в прорубях за непослушание и непокорность. Рудигер при том, что был еще очень молод, должен был знать все про киевского князя, потому-то и подчинился одному лишь его тихому напоминанию: «Довольно!»

В пути над Рудигером не было ничьей власти. Евпраксия? Но ведь он вроде бы исполняет роль ее мужа, по крайней мере до той минуты, когда упадет перед замком Генриха привратный мост, раскроются ворота и застучат старые дубовые доски моста под копытами коней. Не мог решиться выдумывать повеления для Евпраксии, ограничивался утренними и вечерними поверхностными вежливостями, которые, нужно сказать откровенно, давались ему нелегко. Зато во всем остальном он ни от кого не зависел, не обращал никакого внимания на аббата Бодо, придумывал всяческие забавы со своими кнехтами, из которых больше других выделял кнехта по имени Хундертхемде, «Сто сорочек», – воин этот все, что добывал, честно или бесчестно, носил на себе, – сорочки надевал одну на другую, корзно точно так же, привязывал к седлу сапоги, оружие, посуду, заталкивал добычу в сумки, которыми его черный нескладный конь был увешан, как огородное чучело побрякушками.

Ни в Киеве, ни в этом изнурительном путешествии Хундертхемде не смог раздобыть что-нибудь стоящее: драгоценности тщательно охранялись в церкви и на княжеских дворах, пушной зверь не давался в руки средь лета, не говоря уж о том, что у летнего зверя и мех нуку-

дышный: русские невесты как-то умело выскальзывали из рук ненасытных кнехтов, и Хундертхемде так и не изведal ни одного из местных удовольствий. Теперь они ехали по земле того края, где люд добывал загадочный червец, сушил его на ряднах, готовил для купцов дорогой краситель. Хундертхемде попытался было набить несколько сумок сушеным червцем, но вскоре понял, что из этого мало пользы, поскольку хитрые русичи не говорили, что же нужно еще сделать, чтобы червец стал красной краской для одежды, и кнехт с проклятиями и под хохот своих товарищей вынужден был опорожнять свои сумки – везти в Саксонию сушеных червяков – все равно что набить столько же торб саксонской вайдой, из которой, когда знаешь и умеешь, можно изготовить довольно ценный краситель, но все это, вишь ты, известно лишь этим землероям и землеседам, а не вольным рыцарям, которые полагаются лишь на меткость глаза, мощь руки и остроту меча.

Наконец судьба смилостивилась над Хундертхемде, и однажды утром, когда лесной птичий щебет еще не был поглощен клекотом и дыханием обоза, примчался он к Рудигеру, раскрасневшийся, с вытаращенными глазами, с пеной у жадного и ненасытного рта. Не мог слова вымолвить, лишь показывал куда-то вперед толстой рукой и дышал так тяжело, будто не на коне ехал, а нес коня на собственной спине.

– Что?! – спросил немного погодя Рудигер.

– Там, – пробормотал Хундертхемде, – вон там...

– Грабители?

Хундертхемде от досады сплюнул, – вот уж недогадлив молодой барон.

– Да там, ну там! – страдальчески откликнулся он на вопрос.

Обоз еще только готовился в путь. Приторачивали переметные сумы, запрягали волов и коней, возы, нагруженные невиданными богатствами, снова должны были отправляться в поход; каждый из саксонцев, в том числе и сам Рудигер, уже давно облюбовал себе какой-нибудь воз и ждал лишь, когда обоз окажется среди знакомых гор, чтобы отцепить приглянутое. Но каждый думал об этом втайне, не сговариваясь ни с кем, и если Рудигер зарился на повозку с золотыми чашами и блюдами, а Хундертхемде – с черными редкостными мехами, то не мог про сие узнать ни бог, ни дьявол, стало быть, в глуповатом восклицании кнехта молодой барон не должен был заподозрить намек на то, что настало время делить обоз и что именно он, Хундертхемде, нашел подходящее.

– Ну, что тебе?! – уже разгневанно переспросил Рудигер.

– Там поляна... Поляна с коноплей. Среди леса... И конопля как лес. – Хундертхемде начисто из сил выбился от такой продолжительной речи.

– Конопля? – с ехидством взглянул на него Рудигер. – Ты хочешь сказать, что нанюхался конопли и одурел? Но ты ведь и так никогда не отличался большим умом. Одуреть может умный человек, а ты – Хундертхемде.

Саксонцы вдоволь посмеялись над остротой барона, но Хундертхемде не обиделся. Он подъехал к Рудигеру вплотную и сказал ему почти шепотом:

– Посреди конопли... стоят...

– Ну? – барон взглянул на кнехта уже чуточку встревоженно. – Кто стоит?

– Стоят... В королевских одеяньях... Багряно-красные одеянья...

Неимоверное богатство...

– Кто стоит? – зашипел нетерпеливо Рудигер. – Ты хочешь сказать: нас хочет перехватить какой-то король? Забрать все эти неисчислимыe богатства?..

– Красные одеянья... Новенькие... стоят, – у Хундертхемде уже не было силы объяснить задуманное несообразительному барону. – Стоят посреди конопли... Возможно, эти славяне отгоняют воробьев... Чучела... Но в новеньких королевских одеждах... Огромная добыча ждет нас, барон...

– И ты сам это видел?

- Сам. Еще разве лишь бог всевышний, но о том знать нашему аббату Бодо.
- Тогда почему же ты не забрал этих одеяний?
- Барон, их слишком много!
- Даже для тебя, Хундертхемде?
- Даже для меня!
- Тогда поехали вдвоем!

Они ударили коней в бока и выехали наперед обоза. Никто не увязался за ними.

Поляна в самом деле вскоре открылась им за высокими березами, была она длинная и узкая, противоположный край ее терялся где-то далеко; с поляны ударил густой дух зеленой, покрытой росой, конопли, на диво стеблистой, темно-зеленой, могучей, будто и не конопля это была, а какое-то дикое лесное сплетенье невиданных растений, и над его непробиваемой гущиной заманчиво краснели – впрямь королевскими нарядами – неподвижные чучела. Солнце из-за деревьев било прямо на эти багровые наряды, в этой густой зелени, в причудливой неподвижности чучел даже такие низкие души, как Рудигер и Хундертхемде, готовы были увидеть целый сказочный мир еще живых и давно умерших властелинов, которые зачем-то собрались сюда со всей земли, одетые в драгоценнейшие свои наряды, каждый клочок которых стоил целое село, а то и город. И чем дальше от всадников стояли чучела на поляне, тем сильнее искрились багровые наряды, тем драгоценней они казались, тем более могущественным властелинам должны были принадлежать.

– Бери здесь, а я подамся подале! – крикнул Рудигер и погнал коня напролом сквозь коноплю.

Поляна, как уже сказано, была узкой и длинной-длинной, словно сон; какое-то время Хундертхемде ехал за бароном, затем отвернул к первому чучелу, чтобы ободрать его со всем умением, на которое был способен.

Рудигер скакал все дальше, проламывая стены конопли и устремляясь меж неподвижной красной стражи к самым отдаленным чучелам, которые почему-то больше всех других пришили барону по вкусу.

Все еще не опомнившись, пораженный непостижимостью этого, быть может, единственного в его разбойной жизни приключения, Хундертхемде ободрал одно чучело, небрежно запихнул красное княжеское сукно в кожаную сумку, принялся было обдирать второе с еще большей ловкостью, но какая-то сила вдруг заставила его глянуть вслед барону. То было не любопытство, а скорей зависть и обыкновенное у эдаких вояк стремление убедиться, не достанется ли Рудигеру больше, но и не только зависть... Барона Хундертхемде не увидел, увидел лишь баронского коня, что, будто слепой, сделал еще два-три прыжка вперед, потом метнулся назад, крутанулся на месте, испуганно рванул в сторону. Рудигера не было видно. Упал с коня? Заплутал в конопле? Увидел что-то на земле? Хундертхемде не размышлял – никогда не ощущал в себе призвания к этому. Просто пришпорил своего коня и погнал его туда, где вертелся конь Рудигера.

Барон лежал среди потоптанной конопли лицом вниз, в шее у него торчала короткая цепкая стрела, он уже даже и не хрипел; кровь, которая, наверное, в первый миг ударила мощной струей из раны, теперь лишь сочилась; все было столь загадочно и неожиданно, что Хундертхемде не успел даже испугаться или подумать, что для него точно так же приготовлена кем-то хищная стрела. Он оглянулся по сторонам затравленно, в то же время с надлежащей зоркостью всматриваясь в деревья и заросли, но не заметил ничего. Тихо белели вокруг поляны высокие густолистые березы, умопомрачительно пахла конопля, краснели над ней сказочно-драгоценные чучела; за березовой рощей, на недалекой, залитой тем же солнцем дороге ржали – было слышно с поляны – кони; все вокруг искрилось капельками росы, – светло-голубое русское утро, обещавшее быть таким изобильным для ненасытных саксонцев, стало утром смерти.

И внезапно Хундертхемде охватил дикий ужас.

– А-а-а! – закричал он, будто стремился криком отогнать от себя те неслышные и невидимые стрелы, которые непременно должны были прилететь на эту тихую поляну, закричал и погнал коня к березам, к дороге, к своим саксонцам, хоть к ногам узконосого аббата Бодо, пусть бы помог он выскочить отсюда живым, вырваться, спастись.

Примчавшись к своим, кнехт долго не мог промолвить ни слова, безумно-бешено крутил испуганными глазами, жадно всхлипывая, хватал воздух ртом. Его никто ни о чем не спрашивал. Он сам наконец произнес первое слово, выдавил его из себя, то же самое, что кинул недавно Рудигеру:

– Там...

Только теперь это «там» было исполнено ужаса, какого-то содроганья сплошного, было в нем что-то потустороннее, и потому, не сговариваясь, киевские дружинники и саксонские воины враз ударили коней и бросились за березы и на поляне увидели, что «там» случилось. Обскакали всю поляну, обыскали каждую березу. Нигде никого. Ни следа, ни знака, ни чьего-нибудь духа. Словно стрела пала с неба. И предназначена была как раз Рудигеру, единственная из неизвестности, а уж такому ничтожеству, как Хундертхемде, не досталось и стрелы.

Кнехт пытался что-то рассказать, лепетал про какие-то королевские наряды, багряницы и scarlaty, а среди конопляного поля стояло лишь несколько старых чучел. Смех и слезы!..

Кнехта привели к княжне Евпраксии. Он все еще бормотал бестолково о багряных нарядах на поляне; аббат Бодо переводил эту нескладицу, кнехты хохотали до слез, не в состоянии удержаться от хохота даже перед лицом смерти своего барона; это и вовсе разъярило неудачливого искателя приключений, он бросился расстегивать свою сумку, нетерпение колотило его, всхлипывая и захлебываясь слюной, он выталкивал из себя злые восклицания:

– Вот... Покажу... Убедитесь!.. Дураки!.. Свиньи недоверчивые!..

Рвал из сумки запиханное туда совсем недавно драгоценное scarlatное сукно, княжеских достоинств одежды, выдернул что-то, взмахнул, чтоб в потоке солнечных лучей ткань засверкала так, как сверкала для них с Рудигером, когда они стояли сегодня утром на краю поляны.

Не вспыхнуло. Никто не вскрикнул от восторга. Потому что в руке у Хундертхемде был клочок старой истлевшей соломы. Может, впервые в жизни рука эта опустилась растерянно, кнехт испугался снова, больше, чем когда увидел убитого Рудигера, испугался и спросил беспомощно, неизвестно кого:

– Как же это?

– *Conjuratores non gratis* – наказание заговорщикам, – промолвил аббат Бодо, уставив взгляд в землю, чтобы подавить в себе искушение оглянуться назад, откуда они ехали, или посмотреть туда, куда направлялись.

## Летопись. Разоблачение

Про Всеволода написали так: «Князь смолоду был боголюбив, любил правду, был милостив к бедным, почитал епископов и священников, но особенно монахов, давал им все необходимое, был также воздержан и за то любим отцом своим. В Киеве были у него беспокойства с племянниками, которые просили волостей. Он всех их мирил, раздавал волости. К тем заботам прибавились хвори, старость, и стал он любить молодых, советоваться с ними, а молодые пытались отдалять его от старой дружины, к людям перестала доходить княжья правда, тиуны начали грабить, брать несправедливо пени при суде, а Всеволод ничего того не знал в своей хворости».

Про Изяслава – еще душевнее: «Был красив лицом, высокий и полный, нрава незлобивога, кривду ненавидел, правду любил, лъстивости в нем не было, прямой был человек и не мстительный. Сколько зла сотворили ему киевляне, самого изгнали, дом разграбили, а он не заплатил им злом за зло, если ж кто скажет: он наказал Всеславовых вызволителей, то не он же то сделал, а сын его. Потом братья прогнали его, и он ходил, блуждал по чужой земле, а когда сел на своем столе и Всеволод прибежал к нему побежденным, то Изяслав не сказал ему: «А вы что мне сделали?» – и не заплатил злом за зло, а утешил, сказав: «Ты, брат, показал ко мне любовь, возвел меня на стол мой и назвал старшим – так и я теперь не помяну первой злобы; ты брат мне, а я тебе, и голову свою положу за тебя», что и случилось. Не сказал ему: «Сколько вы мне зла содеяли, а вот теперь настала и твоя очередь», не сказал: «Иди, куда хочешь», но взял на себя братнюю печаль и показал любовь великую».

Неужто летописец был так ослеплен, что не увидел ничего, или же так дорого ему заплатили за сокрытие истины, ибо кто-то очень заботился о том, чтоб ввести потомков в заблуждение? Правда, события вроде подтверждают слова летописца, но ведь события изложены им же самим именно так, чтобы они послужили затемнению истины.

Когда умер Святослав и у его зятя, польского короля Болеслава, уже не было причин не помочь Изяславу снова возвратиться в Киев, тот оказал изгнанному киевскому князю помощь войском, и вторично пошел старший сын Ярослава на Киев, чтобы, может, еще раз (и снова, видно, не своей, а сыновней рукой!) наказать непокорных киевлян, но брат его Всеволод, человек действительно ученый и, возможно, незлобивый, коли речь шла о более сильных, встретил его на Волыни с небольшой дружиной и без битвы уступил место, сам пригласил старшего своего брата занять великокняжеский стол. Сам же Всеволод сел в Чернигове. Туда вскоре приехал Олег Святославович, изгнанный Изяславом из Владимира-Волынского, который перешел к сыну Изяслава Ярополку. Олег, что обладал отцовским нравом, отличался недобычливостью и непоседством, вскоре метнулся в Тмутаракань, где сидел еще один безземельный, обиженный племянник Борис, сын покойного самого старшего Ярославича – Вячеслава. Вместе с Борисом, подговорив половцев, племянники ударили на дядьку своего Всеволода, выбили его из Чернигова, Олега черниговцы приняли радостно; Всеволод, побитый и несчастный, вместе с малыми детьми бежал ночью из города, бежал в Киев, просил помощи у Изяслава, и тот в самом деле, как записано в летописи, пошел на Чернигов, но не столько ради помощи Всеволоду, сколько в намерении наказать, проучить племянников.

Была битва на Нежатиной ниве возле Чернигова, и там погиб Борис Вячеславович, но погиб неизъяснимо, как и Изяслав. Истинно: никогда никто не может наперед обозначить ход и конец даже самой маленькой битвы.

Так Всеволод неожиданно стал, не имея больше соперников, великим князем киевским. На радостях он похоронил Изяслава рядом с Ярославом в Софии, хотя сын ни в чем не был равен своему великому отцу. Но и тут высокоученый Всеволод действовал не без собственной корысти. Ибо захоронение в Софии свидетельствовало не столько о величии покойника,

сколько о великодушии преемника, а еще: это был намек, чтоб и самого Всеволода благодарные его потомки, придет время, положили бы именно здесь, в пышнейшем храме земли русской.

Дабы не попали в летопись никакие бесчестные его поступки, Всеволод позаботился, вполне вероятно, о том, чтобы молчанием обойдены были те самые три года, в течение которых Изяслав бегал по Европе, торгуя родной землей, которую продавал и польскому королю, и германскому императору, и папе римскому Григорию во имя единственной цели: возвращения на киевский стол. Любой ценой, любыми унижениями собственными и всего народа своего, – лишь бы вернуться!

Болеслав польский в помощи тогда отказал, еще и каверзу учинил Изяславу, напустив на него охочих к поживе воинов, и те малость пощипали киевского князя, который вывез из Киева многое множество драгоценностей.

Тогда Дмитрий-Изяслав прибыл в Майнц и, как записал в своей хронике Ламберт Герсфельдский, принес императору Генриху «неоцененные богатства в виде золотых и серебряных сосудов и безмерно ценных одеяний и просил его, чтобы он оказал ему помощь против его брата, который силой лишил его власти и удерживает ее злою тиранией».

Хотя Киев слишком далеко от Майнца, чтоб император Генрих сразу сообразил, кому там протянуть руку, все же послано было туда посольство во главе с трирским пробстом Бурхардом. Велено было посольству предложить Святославу покинуть трон, иначе, мол, придется ему «в ближайшем будущем испытать на себе силу оружия и могущества Священной Римской империи германской нации».

Бурхард был родным братом Оды, жены Святослава, уже это свидетельствовало о неистинности угроз германского императора. Когда ж посол рассказал киевскому князю о затруднениях Генриха со строптивыми саксонцем и с папой Григорием, острый разумом Святослав сразу сообразил, что ему не угрожают – скорее, у него просят. Дружины для помощи Генриху у него не было, да и будь она у него, как ее послать в эдаку-то даль, но богатствами поделился с охоткой. Германский хронист, восторгаясь, рассказывал, что Бурхард «вернулся от короля русских со столь богатыми дарами в виде золота и серебра и дорогих одеждах, что никто и не припомнит другого подобного случая, чтоб в германское государство в одночасье было ввезено такое множество».

Посольство ездило долго, да Изяслав и не ждал, что оно там ему привезет, а погнал поскорей Ярополка к самому папе Григорию; и у того просил помощи, обещая взамен сделать Русь леном церкви святого Петра, иначе говоря, продавал свою землю еще и католическому Риму.

«Помощь» пап не в силе, а в слове, слово же римских первосвященников воплощалось в их посланиях к земным владыкам. Григорий одарил таким посланием и «Дмитрия, короля русского», то есть Изяслава (Дмитрий – было его церковное, при крещении данное имя):

«Сын ваш, посетив город апостольский, пришел к нам и, желая из рук ваших получить королевство в дар от святого Петра, выразил надлежащую верность тому ж блаженному Петру, князю апостолов. Мы согласились с просьбой и обещаниями сына вашего, которые показали нам справедливыми как потому, что даны с вашего согласия, так и по искренности посетившего нас, и передали ему кормило правления вашим королевством от имени блаженного Петра – с тем намерением и пожеланием, дабы святой Петр своим ходатайством пред Богом хранил Вас и царство ваше и все добро ваше и споспешествовал Вам до конца жизни Вашей в том, чтобы удержать царство ваше во всяческом мире, чести и славе».

Послание было вручено Изяславу папскими послами, которые передали еще много из ненаписанного, а получалось в итоге нечто и вовсе Изяславом не ожидаемое. Сам он утрачивал власть, переданную папой Ярополку, к тому же должен был принять католичество, и вся Русь вместе с ним «при его содействии». Выходило так, что и власти нет, и содействие окажи этим римским отцам-ненасытцам.

Изяслава спасла от окончательного позора и, может быть, от вечного проклятья смерть Святославова. Забыв о своих посулах папе, Ярославич кинулся домой, где без помех воссел на киевский стол, а через два года, как уже сказано, poleg в битве под Черниговом и был торжественно похоронен Всеволодом в Софии, будто за некие перед землей русской высочайшие заслуги.

В битве на Нежатиной ниве вместе со многими безвестными воинами и двумя князьями пали также известные дружинники княжеские Иван Жирославович, Туки, Чуднов брат, Порей и Жур – самый доверенный человек Всеволода, а еще муж Журины, мамки и кормилицы маленькой Евпраксии. И то ли так уж княгине Анне захотелось усладить Журину прочь из Киева, то ли старшие дети Всеволода, Владимир и Янка, пожелали унижения младшей сестры, то ли и сам князь по каким-то непонятым соображениям решил избавиться от своей красивой маленькой дочери, но случилось так, что Евпраксию быстро и без колебаний отдали за саксонского графа, родича Оды Святославовой, – поступок для киевского великого князя странный. До сих пор простые графини становились княгинями, теперь княжна должна была превратиться в графиню – не было в том никакой чести для русской земли, не было чести и для Всеволода, глубоко несчастной чувствовала себя Журина, оторванная от единственного сына и мало утешенная тем, что князь взял его в свою младшую дружину.

А всех несчастней была Евпраксия, хотя и звалась с самого рождения:  
«Счастливая».

## Перемена

Со смертью Рудигера с Евпраксии словно сняли невидимую тяжесть. Она сразу почувствовала себя свободной, к ней возвратился мир детских увлечений, она теперь охотно ехала по безмерно великой земле, не задаваясь вопросами о том, куда направляется и что покидает; она могла любоваться цветами и травами, собирать листья прошлогодние и желуди, допытываться у Журины, не чеберяйчики ли прячутся под шапочками желудей. Как-то сразу открылась перед нею пуща, шла широкая, темная, в непролазности трясин и завалов, в запахах плесени и гнили, наполненная щебетом птичьим, ревом зубров, ночным таинственным топотаньем, шелестом, треском, шорохом.

Евпраксия стала внимательней присматриваться к людям, сидевшим в придорожных поселеньях. Одичалые, нелюдимые, помесь грабителей и бродяг, мохнатые, немые, равнодушные к миру, который обращался с ними твердо и жестоко, посылал на них снега, бури, злых путников, диких зверей, одиночество, мор. Нигде не встретили ни женщины, ни девушки: не могли удержаться среди дикости, бежали из поселений, оставляли мужчин одних – тем от рождения суждена была одинокость тяжелых обязанностей на княжьей службе. Однажды все-таки им попала навстречу женщина. Была она такой старой, что и сама не ведала: живет или умерла уже давно. Журина расспросила ее. Евпраксия испуганно посматривала на старуху, слушала, не верила: неужто бывает на свете и такое?

Убиты сыновья, муж, она хочет умереть, а боги велят: «Живи!» Вот и живет. Таскает хворост за ограду, согреться людям, когда они проезжают мимо поселения. Чем питается? Тем, что дадут. А если долго никто не едет?

Тогда так живет.

Евпраксия ужаснулась. Велела сбросить припасы с одного воза, с другого. Старуха закачала головой. Все одно – до смерти не напасешься.

Хоть и нет никого жадней человека.

Еще долго Евпраксия вспоминала старуху, допытывалась у Журины: «А как же зимой? А ночью? Не страшно ей одной?»

Потом забыла про старуху – может, и навсегда. Ведь княжной была, а княжеские головы так уж устроены: больше забывают, чем помнят.

Гостила Евпраксия в небольших городках и в таких крупных городах, как Луческ, где сидел князь Ярополк, где были высокие валы над Стыром, хмурые вои с длинными копьями, густые меды и надоедливые молитвы. Но не задерживалась нигде, хотела ехать, продвигаться вперед, видеть больше, наслаждаться миром божьим, радоваться жизни, смеяться солнцу, деревьям, рекам и ручьям. Дальше, дальше, дальше!

Начались предгорья Карпат. Дорога пролегла словно по дну некоего богатырского блюда, стенки которого поднимались зелеными валами лесов так недостижимо-высоко, что хоть плачь от бессилия достигнуть их. После был бешеный клекот горных речек, хмурые вершины гор, тучи наверху, тучи внизу под ногами, колючие ели, загадочные широколистные папоротники, круглые лбы камней, омываемых потоком целые века.

По ночам Евпраксия не хотела идти в поселенье. Сидела у костра, рядом с Журиной, священником и Кирпой, который не отступал от княжны ни на шаг.

Таинственная темнота обступала желто-медный огонь, стрелял хворост, прыгали в черные сумерки гранено-острые искры, душа огня отлетала в высоких всплесках пламени, жар оставался, оборачивался сизым пеплом – так седая пена старости обступает молодую жизнь. Но Евпраксия была далека от тревог старости, ей хотелось еще и еще огня, она сама подбрасывала в костер сушняк, балуясь, прыгала рядом, обжигалась жаром, с визгом отскакивала, когда слишком длинный жадный язык пламени вырывался в сторону, а затем взвивался высоко-

высоко, в самое небо, и казалось, это он только что нарисовал проступившие из тьмы задумчиво-сонные горы, и горы были как тьма, а тьма вставала вокруг, будто горы, и у Евпраксии на миг возникало желание жить вот в таких горах, если б не знала она больших равнин, что зелеными волнами залегли в ее детской памяти на всю жизнь.

Путь вел Евпраксию в Краков, дальше через Чешский лес в Прагу, затем в Эстергом к тетке Анастасии, бывшей королеве венгерской, а оттуда по Дунаю в Регенсбург, где уже была Германская империя. По этой дороге ехала когда-то ее тетка Анастасия, ехала и вторая тетка Анна в жены к королю Франции Генриху. Анну прочили было в жены сыну германского императора Конрада, но Конрад ответил отказом на послание Ярослава. В Майнце Анна встрети-лась с сыном Конрада, Генрихом германским, который весьма сожалел, что досталась она в жены темному своему французскому тезке, а не ему, но что ж тут можно было поделать? Тетки Евпраксии узнали лучшую, чем у нее, судьбу, все три стали европейскими королевами, все три вышли замуж взрослыми, не пришлось им так вот, как ей, в детском возрасте мерить далекие дороги, да еще и ради чего? Чтобы стать какой-то графиней на окраине империи.

В горах дороги неминуемо сливаются в одну или в немногие, отчего движение по ним не прекращается даже ночью. Едут куда-то воины, едут духовные лица, государственные люди, гонцы с грамотами, послы, сборщики дани, караваны купцов, монахи-беглецы, вечно ищут пристанища несчастные рабы, мечутся из конца в конец грабители, бродяги, насканивают кочевники, живущие на конях, опережающие все слухи и ветры.

К путешествующим люди в горах относятся настороженно-напуганно, селятся здесь на малодоступных вершинах, прячутся в чащах, за изгибами потоков; жизнь в горах всегда была жизнь в нужде, и для тех даже, кто там так или иначе освоился, а для странствующих людей, особенно для бедных, здесь и вовсе была беда, и они проклинали день, когда вынуждены были покинуть свой дом.

Громадный обоз русской княжны наполнил горы клетотом, удивлением, завистью. Если б кто и захотел напасть на него, он неминуемо наткнулся бы на железную стену киевских дружинников, расставленных воеводой Кирпой, привычным к дальним путешествиям, столь умело, что, казалось, будто богатства киевской княжны охраняет нескитанно-большое войско. Если ж кто-то из челядинцев, в испуге от далекой дороги, тоскуя по дому или просто пожелав урвать и себе кусок из лакомого обоза, пробовал бежать с возом ли, верхом ли на коне, осле, верблюде, то его ловили не только киевские дружинники, но и саксонцы, предпочитавшие довести все до Саксонии в целостности, а если и разворовать обоз, то у себя дома, и для себя, а не для когонибудь другого.

Евпраксия не обращала внимания на запутанную взрослую жизнь в своем обозе, то уходила в детские воспоминания, то ее охватывал приступ княжеского высокомерия, и тогда прогоняла она от себя даже мамку Журину, одевалась в паволоки, сходила с окованной серебром повозки, приказывала нести себя в обитой ромейскими золотыми тканями лентике, и восемь сильных смердов легко несли маленькую княжну, а она, закусив губы, горделиво поглядывала по сторонам, так, будто готовилась управлять не какой-то маркой, а целым светом.

В Кракове в честь Евпраксии было устроено многодневное пиршество; были прославленные славянские каши, меды холодные и горячие, пива, жаркие, были ухаживанья красивых гордых воевод; Евпраксии, священникам, дружинникам и Журине преподнесли богатые дары; устроили птичьи ловы для забавы русской княжны, для нее пели песни, веселые и грустные, как огромные славянские равнины; краковяне просили оставаться в гостях хотя бы до весны, ведь поезду киевской княжны незачем было торопиться, но Евпраксия была упрямо-неумолимой: дальше, дальше, дальше!

Сама не знала, куда спешит, но после смерти Рудигера, когда спала с ее души железная тяжесть, когда глаза перестали видеть, как посол Генриха фон Штаде давит княжеские перины железным своим панцирем, намереваясь раздавить и ее нежное маленькое тело, она избавилась

от страшного наваждения. Не было теперь не только Рудигера с его нагло-гремящим железом на беззащитно-мягком киевском ложе, – будто не существовал и сам граф Генрих. Евпраксия не хотела думать, кто расправился с Рудигером: князь ли Всеволод, в чьем сердце при воспоминании об обнаглевшем рыцаре на ложе рядом с дочкой, возможно, шевельнулась обида и боль за нее, то ли сам граф Генрих, убравший свидетеля, поскольку свидетели, как выразился аббат Бодо, всегда нежелательны. Евпраксия уже ведала, как убирают свидетелей. Графиня Ода, после смерти Святослава возвращаясь вместе со своим сыном Ярославом в Германию, вывезла все богатства, собранные киевским князем. А довести их в такую даль не могла и зарыла где-то на Волыни, приказав убить всех, кто помогал прятать сокровища. Об этом говорилось в Киеве – среди простого люда с тайным испугом, среди богатых и сильных с хищным удовлетворением.

Княжеским детям не рассказали, конечно, но они узнали обо всем от мамки Журины, которая не выносила малой несправедливости, а тут ведь шла речь о страшном преступлении.

Но теперь Евпраксии даже нравился этот обычай властителей тайно избавляться от свидетелей. Ненавистного Рудигера устранили, убрали навеки, о, если б она могла это сделать сама, не колеблясь, чтобы чувствовать себя ныне свободной, свободной, свободной!

Гнала обоз, торопила, не давала передышки, забыла о чеберяйчиках, не боялась больше покидать родную землю. Дальше, дальше, дальше! Куда, зачем?

Князь в Праге был еще добрей, чем в Кракове, вел беседу с Евпраксией ласково, нежно, видно, считал ее ребенком, а она ведь была киевская княжна, германская графиня, законная супруга, она везла столько богатств, что могла бы купить целое государство.

В Праге на каменных зданиях высечены медвежата, розы и весы. Улочки такие, что можно перегордить копьём. В тесных переулках прятались влюбленные и грабители. Серый камень, железные стебли кованых решеток, четырехугольные мрачные башни, воронье над башнями, пенистые пороги на широкой Влтаве – все напоминало Киев, так и в Кракове было, и в Луцке, да всюду, где она проезжала, потому, может, и бежала все быстрее от этих городов, бежала от воспоминаний, детства, – в суровость, в чужой язык, наталкивалась на него, будто на камень, спотыкалась, обжигалась словами, как стыдом, пыталась вырваться из его оболочки на свободу, в широкий мир.

Дальше, дальше, дальше!

Горы топорщились чернолесьем и каменными башнями, на узких пыльных дорогах гарцевали черные кони; ястребы падали черными молниями с поднебесья, целясь прямо в очи, в душу. Евпраксия зажмуривала глаза.

Отдавали молодую в чужедальную сторону...

В Эстергомте тетки не нашли, молодой король отправил вдову-королеву в ее горный замок Агмунд, и хотя Евпраксию принимали по-королевски, выставили лучшие в Европе вина, она не задержалась надолго, велела отправляться на Лабу, чтоб сразу в Нордмарку Генриха – в Саксонию.

Горы и леса сопровождали ее теперь неотступно. Серые, как печаль, птицы смотрели круглыми выкатившимися от удивленья очами на извивающийся обоз и тоже молча сопровождали маленькую Евпраксию, узкоплечую девочку в длинной дорогой сорочке – еще в сорочке, а не в порочке, ибо непорочна, непорочна! А Евпраксии при виде этих печальных птиц захотелось высоких трав, чтоб сплести с ними поднятые руки, заплестись в них, затеряться, запрягаться, – может, даже вместе с чеберяйчиками? Где ж это они, чеберяйчики?

Саксонцы били в щиты и кричали от счастья. Ночью сидели у огня, резали ножами смачное мясо, жрали, рыкали, запускали обглоданными мослами друг в друга, полыхающими глазами вглядывались в темноту, на возы и повозки, видели там жбаны и блюда из серебра, усаженные дорогими камнями, золоченые кубки, бокалы из прихотливо посверкивающего стекла, проволочные украшения, золотые и медные, бисер и янтарь, поволоки с вытканными грифо-

нами и двуххвостыми райскими птицами, меха столь пышные и густые, что дунь – не шелохнутя, мечи такой гибкости, что согни в обруч – не сломаешь. Все это принадлежит им, все это для них, все это в Саксонию!

Уже на горах высились изредка замки, будто серые совы, – здания были тяжелые и хмурые, на дорогах толклись нахальные рудогривые кобылы с равнодушными всадниками на них, возвышались городские крыши, топорщась черепицей; хрипло стонали колокола над каменной землей, камень, всюду камень, и сердце, казалось, стучит не в грудь, а в камень.

Еще раз произошла перемена в Евпраксии, теперь завладел ею нечеловечий страх – закрыть бы лицо руками, бежать отсюда куда глаза глядят, бежать без думки, без оглядки, просить спасу у всех богов, и новых и старых, но – поздно уже, поздно. Камень – серый, безнадежный, жестокий, и среди того камня живут, будто дикари иль разбойники, графы, бароны, рыцари, живет император ихний, а где-то дома белые ласковые жилища, зеленая ласковая земля и Киев, взнесенный на тихих холмах под самое небо.

Евпраксия плакала, не скрывая слез. Мамка Журина утешала ее, называла снова, как прежде, «дите мое», воевода Кирпа скособочился еще сильнее, сострада маленькой княжне, а тем временем черные саксонские кони скакали впереди обоза наперехват солнцу и черным жирным теням, тяжелые дубовые мосты падали поперек глубоких рвов с протухлой водой, гремели ржавые толстенные цепи, голоса у замковой острожи тоже ржавые, будто простояли здесь сторожа целые века.

Граф Генрих не выехал навстречу своей жене, видно во всех ожиданиях своих надеясь на Рудигера.

Люд встречал молодую маркграфиню без восторгов, равнодушно и мрачно, зато замки становились перед ней на каменные колени, леса с высоких верхов отдавали поклон, расстояния стискивались, будто проваливались в горные обрывы; под грозами и дождями, под солнцем и ветром приближалась Евпраксия к своему мужу, ближе, ближе, ближе...

## Летопись. Удивление

Свои летописцы умолкают, так и не начав рассказа про Евпраксию и удивительные ее приключения, зато чужие наперебой спешат сообщить о прибытии в Саксонию дочери прославленного русского царя, зятя ромейского императора, брата французской королевы, свекра английской принцессы, родственника королей Швеции, Норвегии, Венгрии. В хронику монастырей Розенфельденского и Хассенфельденсенского угловатой своей латиной вписывает монах, что «дочь русского царя приходит в сию землю с большой пышностью, с верблюдами, нагруженными роскошными одеяниями, драгоценными камнями и вообще неисчислимым богатством». (Верблюд был такой диковиной, что, попав, например, в чешский Пльзень, как дар русского князя, навеки остался в гербе этого города.) И это произошло именно тогда, когда император Генрих покорил саксонских баронов, вынудил их заключить мир, а как писал потом Отберт, епископ Люттихский, «такой закон о мире был столь же полезен несчастным и добрым людям, сколь вреден негодным и хищным. Одним он давал кусок хлеба, другим – голод и нищету. Те, кто растратил свое имущество на военные приготовления, стремясь окружить себя привычным числом сподвижников и в сем превзойти других, должны после лишения права на грабежи – с ихнего дозволения будь сказано – вступить в борьбу с обеднением, ибо погребами ихними завладели нужды и нехватки.

Кто скакал пред тем на взмыленном жеребце, вынужден был теперь довольствоваться крестьянской клячей. Кто еще недавно одежду носил не иначе как ярко-пурпурную, теперь почитал прекрасным иметь одежду той окраски, которую дала ему природа. Золото радовалось, что его больше не втоптывали в грязь, ибо бедность заставила носить шпоры из железа.

Одним словом, все, что дурные склонности развили в этих людях суетного и лишнего, отняла у них ныне наставница-нужда».

И вот тогда к маркграфу Северной марки, созданной для войны против славянских племен лютичей и венедов, да и для удержания саксонцев в подчинении империи, к Генриху, что незадолго до рассказываемых событий уже получил в наследство огромные богатства Оды, бывшей русской княгини, прибыла прекрасная, как ангел, русская княжна да еще с богатствами, опять с богатствами, за которые можно было бы купить всех германских епископов и баронов.

В первой нашей летописи под годом 1083 стоит: «Приде Олег из Грек Тмутараканю, и я Давида и Володаря Ростиславовича, и седе Тмутаракани; иссече Козары, иже беша светници на убиенье брата его и на самого, а Давида и Володаря пусти».

Об отъезде Евпраксии – ни звука.

И родной по отцу брат Евпраксии, прославленный Владимир Мономах, создавая через десять лет знаменитое «Поучение» сыновьям, ни единым словом не упомянет ни о несчастной своей маленькой сестренке, ни о другой сестре, Янке, рожденной, как и он сам, от ромейской царевны. Вспомнит лишь свою невестку, посожалев, что за грехи собственные не увидел ни первой радости ее, ни венчания, и попросит прислать ее к нему, чтоб с нею последние в жизни слезы свои пролить, чтоб посадил ее на место, приличествующее ей, и да сядет, дескать, она, аки горлица на сухом древе, с сетованиями, а великий князь утешится тем временем в бозе.

Аки горлица на сухом древе... Следовало бы сказать так о маленькой Евпраксии, но кто же мог это сделать? Дома ее вычеркнули из памяти, а тут, на чужбине, неуклюжая латынь не прибегала к таким выражениям, хронисты смотрели на мир суровыми глазами, пристрастия не могли подступиться к толстенным монастырским стенам, все скорби давно были распяты на островерхих башнях баронских замков.

«Дите» было забыто, стало чужим, ничьим; богатства, привезенные им, так или иначе должны были рассеяться, словно песок, на ветру. Чему же предстояло остаться?

## COMPENTENTIA ANNORUM

Обоз, что пришел с Евпраксией, не уместился ни в замке Генриха фон Штаде, ни в трех других замках, куда его рассовали. Сам маркграф, забыв о жене-чужеземке, метался от замка к замку, жадно пересчитывая приданое, грозил ненасытным своим забиякам-кнехтам; по обычаю, все приданое принадлежало невесте, а всякую в нем недостачу должен был теперь возмещать муж, то есть Генрих.

Генрих был необыкновенно высок ростом и худ (потому и прозвали его Длинным), поражала маленькая, как у дракона, головка, поражали мелкие черты лица; было в нем еще много от мальчишки-подростка, но в то же время вполне отчетливо ощущалась испорченность – ее не заметила Евпраксия, зато сразу почувствовала опытная Журина, которая прямо содрогнулась от страха за свое прекрасное «дите», за его чистую душу.

Путешествие от Киева в Саксонию растянулось на долгие месяцы. Из Киева выезжали в мае, теперь на дворе стоял уже октябрь, прозванный германцами месяцем вина, месяцем плодов, щедрот земных; то месяц, когда выдавливают из виноградных гроздей молодое вино, варят пиво из нового ячменя, коптят первых гусей, колют откормленных свиней и зажаривают вкусные колбасы и ребрышки к пиву, – месяц, когда в лесах вянут листья, обнажаются деревья, погружаясь в грусть и сон, а в долинах горкнут перестоявшиеся травы, утрачивают соки, замирают, будто старые люди. Но в одночасье осень – пора свадеб, пятнадцатидневных брачных пиршеств, потех и развлечений, пора зачатий новой жизни, которая должна прийти на смену умиранию в лесах, на горах, в долинах, в заолоделых водах.

Аббат Бодо весьма радовался тому обстоятельству, что смог доставить невесту для графа Генриха именно в пору щедрой пышной осени; радость эта, правда, немного омрачалась при воспоминании о смерти Рудигера, но по всему было видно, что маркграф не очень-то переживал по сему поводу, можно б даже утверждать, что он воспринял известие о таинственном убийстве барона с некоторым удовлетворением, ибо не удержался и, искривив еле засеянную рыжеватым пушком губу, бросил: «Для брачных развлечений на ложе я в баронах не нуждаюсь, не правда ль, аббат?»

Аббат немного испугался за этого властителя-недоросля, в пределах марки господина полного и не подвластного никому и готового, как видно, пренебречь даже божьим судом. Неужели он имеет намерение сразу потащить это невинное дитя в свою грязную постель? Осторожно заметил: *competentia annorum*, то есть настоящее совершеннолетие у женщин наступает лишь в шестнадцать лет, а Евпраксии всего только двенадцать.

– Двенадцать лет для девушки – как раз законный возраст, *legitima aetas*, – напомнил ему маркграф, – или аббат забыл наши законы?

– Однако же, сын мой, даже монахиной женщина не может стать до исполнения ей шестнадцати лет, *Competentia annorum*! – воскликнул Бодо. – Ваш брак никак не может считаться сразу же свершившимся, это должен быть как бы брак и как бы свадьба.

Разговор происходил в мрачном замковом зале, оба стояли друг против друга, чувствуя, что начинают ненавидеть друг друга; у молодого ненависть всегда сильнее и сразу прорывается наружу – маркграф сорвался на крик; словно переломив свою высокую фигуру, наклонился к аббату и прохрипел ему в лицо:

– Шестнадцатилетних в монахины?.. Чтоб рожали детей от аббатов! А у меня – двенадцатилетняя жена, и я хочу сразу же консумации брачной! И пусть мои подданные с радостью говорят: Генрих *alreit hatte beschlofen Praxed*<sup>1</sup>. Откладывать на четыре или пять лет то, что принадлежит мне по обычаю и праву? Я завтра же торжественно въеду в свой замок с обна-

---

<sup>1</sup> Сразу переспал с Праксед (староном.).

женным мечом в руке под бой котлов и звуки лютней и повезу свою невесту в епископальную церковь, и меня будут сопровождать все бароны и рыцари Нордмарки, и хотел бы я видеть, кто захочет мне помешать!

«И псом взрослым еще не стал, – подумал аббат Бодо, – а кусает уже свирепо». Вслух не сказал ничего, даже вздох подавил и тихо отошел от маркграфа, исчез, как тень.

В замок прибыла графиня Ода с баронскими женами, высокая, белолицая – какой Евпраксия помнила ее еще в Киеве. Бывшая княгиня не изменилась ни в чем, даже одежда на ней была почти такая же, как когда-то в Киеве, когда восседала она рядом со Святославом, только золота навесила на себя графиня больше и тяжелей прежнего, и властности в ее голосе слышалось тоже больше, пожалуй, чем во времена княженья.

Все называли тут Евпраксию на латинский лад Пракседой, имя утратило ласковость, стало каким-то грубым, будто прозвище, девочка каждый раз пугливо ежилась, когда над ее головой раздавалось «Праксед! Праксед!»

Графиня Ода вместе с Журиной выбрала свадебные наряды для Евпраксии: прежде всего протканый легким золотом прозрачный ромейский плат, его набрасывают на голову вроде бы небрежно, а на самом деле умело и красиво, он собирается в мягкие складки и увенчивается золотым венцом. Красив был и широкий гиматий с длинными рукавами, на воротнике, наглухо охватывающем шею, и внизу – золотое шитье, пояс точно так же золотой. Под верхними одеяниями – узкая, по фигуре, сорочка александрийского полотна с сильно зауженными рукавами и золотыми наручами. Сандалии пурпурные, как у ромейских царевен, круглоносые, усаженные перлами и другими камнями.

Евпраксия, очень легкая, словно облачко, вся сверкала золотом и молодостью, рядом неуместным и нелепым выглядел долговязый маркграф с драконьей головкой (шлем нельзя было надевать в церкви, держал его на согнутой углом левой руке), в золоченом панцире с пышным ошейником и нагрудником, украшенным целым ворохом самоцветов, в высоких красных сапогах (длинные шпоры тоже позолочены), с гремливym мечом на дорогой перевязи.

Епископ надлежаше-торжественно, хотя и суховато, коль сравнивать с киевскими вкусами, соединил в соборе руки новобрачным, произнес должные слова о том, что церковь велит обоим жить по справедливости и в уважении святости брачных уз. Бароны стояли позади новобрачных и тяжело дышали – от напряженности торжественного мгновенья и от копченых гусачков, которыми уже с утра были набиты их ненасытные желудки; чуть позже епископа бароны дополнили, недвусмысленно посоветовав маркграфу, чтобы на ложе он избавился от рыцарственной вежливости и пороскошествовал как следует; из собора пышный кортеж перебрался в замок на пиршество, которое длилось до поздней ночи, сопровождаемое пьяным пеньем, игрой на лютнях, забавами шпильманов, дикими, часто же и срамными плясами, а уж тогда, как водится по обычаю, родичи проводили новобрачных в свадебную ложницу, чтобы положить их в постель рядом, но тут уж не было между молодыми обнаженного меча, как в Киеве, и гости не задерживались в ложнице. Пьяные слуги еле-еле стянули с маркграфа железные доспехи, кое-как сорвали с Евпраксии златотканые одеяния. Невеста осталась в одной сорочке, Генрих в грубой ночной рубахе ниже колен. Неуклюже передвигая длинные тонкие ноги, покачиваясь и пьяно хохоча, он сам вытолкнул из спальни последних гостей, осмотрелся в темноте, не остался ли еще кто-нибудь из них, и тут увидел женщину, которая приехала из Киева вместе с его маленькой Праксед. Он что-то крикнул женщине, но та, видно, не поняла, потому что стояла посреди ложницы, – отгородив от него Праксед, его законную жену, настоящую жену, которая, черт побери, уже вступила в законный возраст, *legitima aetas*, как бормочут по латыни все эти, чесотка их возьми, аббаты. Маркграф махнул рукой на дверь, коротко и зло, но эта темная славянка продолжала стоять столбом, тогда Генрих почти упал на женщину, обхватил ее обеими руками, начал толкать к выходу, не переставая бормотать проклятья, брызгая слюной, безмерно пьяный.

Вдруг что-то светлое мелькнуло перед глазами маркграфа, он резко обернулся, отпихнув Журину с такой силой, что она упала на пол, увидел: прямо в грудь, напротив сердца, совсем близко было направлено что-то холодное и безжалостное, а голос молодой жены показался еще безжалостней: «Заколю!»

В пьяном тумане Генрих пытался понять, когда тут, почти у дверей, появилась Праксед. В руках ее он, однако, разглядел мизерикордию – узкий рыцарский нож для добивания смертельно раненных друзей (не врагов, нет!). Генрих непроизвольно отшатнулся от орудия смерти-избавительницы (для кого угодно, но не для него, нет!); Евпраксия, напуганная не меньше мужа, крепко сжимала мизерикордию, пытаясь держать и руку и клинок без дрожи.

Ромейская мизерикордия, подарок брата Ростислава, красивая, с золотой рукояткой и тонким, острым, как длинная рыба кость, жалом... Ростислав научил прятать мизерикордию в рукаве, залихватски подмигивая маленькой сестричке: «Кто на тебя нападет, ударь в грудь, и того поминай как звали!»

– Пойдем-ка, дите мое, – сказала Евпраксии Журина, и Генрих молча отступил.

В ту ночь Евпраксия спала с Журиной, а утром свадебное пиршество продолжалось снова и длилось до тех пор, пока не было съедено в замке все, что в нем было; тогда перебрались в другой замок, съели и выпили все, что было в окрестностях; насупленные крестьяне привозили свиней, вели бычков, несли гусей, кнехты забирали у них живность, самих выталкивали за ворота замка, чтобы и духом тяжелым крестьянским не смердило там, где пьют и едят сильные мира сего.

В пьяной похвальбе и болтовне стало все ж известно о нежелании Праксед изведать брачное развлечение на ложе. Графиня Ода побеседовала сначала с аббатом Бодо, потом пожелала поговорить с Евпраксией. Уединились от пьяниц. Долго сидели молча две столь разные женщины, связанные общими воспоминаниями, а еще крепче связанные теперь – понимали это обе – враждою.

– Твой старый Святослав взял меня, когда мне было двенадцать лет, как и тебе, – сказала Ода несколько обиженным тоном. Правда, обида к такому событию, кажется, была неподходящей, женщине надлежит радоваться и гордиться, когда она становится женщиной, поэтому она тотчас поправилась:

– Но я была намного крепче тебя. Ты слишком хрупка, в тебе еще... мало женского. Аббат Бодо вполне разумно напоминает о *competentia annorum*. До шестнадцати лет тебе нужно пожить в Кведлинбурге, где ты познакомишься с нашими обычаями, языком и обхождением на земле мужа. Бедный Генрих, ему придется ждать еще целых четыре года!

Евпраксии хотелось крикнуть: «Не дождется!», но она сказала об ином:

– В Кведлинбург поеду только с моими людьми. Не отпущу их в Киев, останутся при мне.

## Летопись. Забытое

«Если бы среди мрака этого мира не сверкал луч науки, все покрылось бы ночью», – так запишет в «Хронике славян» через сто лет после событий, о которых ведется рассказ, Гельмгольд, пресвитер из Бозова на Пленском озере в земле славянского племени вагиров, называемой еще Холстинией. Киевский великий князь Всеволод всеми признавался мужем высокообразованным, покровителем наук, называли его «пятыязычным чудом», потому как знал он пять самых распространенных в тогдашнем мире языков, пристально следил за ведением летописания в монастырях Киева, Чернигова и Переяслава, немало гордился своими разветвленными семейными связями со всеми владыками чужеземельными, – но ведал ли он, что самую младшую дочь Евпраксию отдает замуж за человека, который принадлежит к яростнейшим гонителям славянства?

Достигала ли ученость Всеволода хотя бы простого понимания того, что Нордмарка создана была как раз для новых завоеваний земель славянских? Да и сама империя Германская вырастала на этих землях. Рожденный в Мейссене (некогда славянский Мишин) Адам Бременский за несколько лет до приезда Евпраксии в Саксонию писал: «Земля славян – обширная область Германии, населена винулами, которых ранее называли вандалами. Если причислить к славянам ничем не отличающихся от них ни по внешности, ни по языку богемцев и расположенных на том берегу Одера полян, то ихняя земля будет вдесятеро больше нашей Саксонии. Эта земля сильна войском и оружием, обильна всяческими товарами, со всех сторон окружена горами, покрыта лесом и реками, создающими ее естественные границы».

Кроме вагиров, бодричей и лютичей, известных еще под именем вильцев, в землях, которые в дальнейшем огнем и мечом были присоединены к Германской империи, в междуречьях Лабы и Одры по всему побережью Балтийского моря (тогда – Скифские воды) жили полабинги, кучины, лингоны, варнабы, укряне, хипцины, пирпипаны, толозанты, ретары, гевельды, доксаны, вилины, стодораны, ретарии, лужичи.

Через тысячу лет от них уцелеет лишь горстка лужицких сербов да в названиях рек и городов будут угадываться славянские первоосновы:

Бранденбург – Бранибор, Ратценбург – Ратибор, Любек – Любека, Траве – Трава, Мейссен – Мишин, Росток – Растоки. А хронист ведь когда-то писал с тревогой: «Область славянского языка так обширна, что ее невозможно объять умом».

«Недоступные в своих болотах, они не хотят признавать никаких властителей над собою», – писал Гельмгольд. «Глаза у них голубые, лицо красноватое, а волосы длинные» – такими остались в истории.

Ни языка их, ни легенд, ни мудрецов, ни надежд, ни последних слов.

Истреблены только потому, что их земля понравилась ненасытным соседям и еще более ненасытному их богу, – прикрываясь его именем, германские рыцари шли на незащищенные поселения славянские. Знаем, что были славяне доброжелательны, умны, правдолюбивы, отличались твердостью духа и умеренностью. Германский хронист вынужден был признать, что славяне пусть «еще не просвещены верой, но одарены добрыми естественными свойствами, ибо весьма жалостливы к тем, кто терпит нужду. Золото и серебро они ценят мало и богаты редкостнейшими, не известными нам мехами, запахи коих влили смертоносный яд гордычества промеж наших. Сами же они считают эти меха не дороже всякой скверны и тем самым, я считаю, выносят приговор всем нам, ибо добиваемся кунных мехов, как высочайшего блаженства».

Нордмарка направлена была в самое сердце славянских земель. Ведал ли о том высокоученый князь Всеволод? Иль все равно ему было? Да что там племена, коли он не пожалел даже своей молоденькой дочери...

## Набег

Широкозадые кобылы несли сквозь серый дождь без умолку кричащих, еще охваченных сытым воспоминанием о многодневном свадебном пиршестве кнехтов.

Хвалили своего маркграфа, распевали: «Ангелы на небо, пастухи в конюшню, гой нам, гой!» Дождь их не пугал. Настоящего сакса ничто не пугает, ему быть не может никаких преград и помех. «Реки переплывем, горы преодолеем, хитрости перебором, силу переломим, гой нам, гой!»

Когда-то сакс пришел к тюрингу, попросил выделить для себя немного земли. Хмурый тюринг не отличался ни гостеприимством, ни щедростью.

Сказал: бери в подол рубахи – вот и вся тебе тут земля. Сакс набрал землю в подол и начал разбрасывать по крошке, и перепуганный тюринг увидел, что все его горы покрыты саксовой землей.

«Гой нам, гой! А славянских свиней вырубил под корень, так вот нам нужно, гой нам, гой! Найдем их осады в диких борах, на сыром на корне, над реками-озерами, не спросим названья, не дадим опомниться – ни вскрика, ни крика, ни плача, ни памяти – падем дождем, бога принесем – своего бога, свое слово, свой меч! Гой!»

Пьяные размахивали взблескивающими мечами, секли струи дождя, гоготали сдуру, маркграф тоже встрял в это шутовство, похвалялся, обещал своим воякам развлечения, пороскошествовать со славянскими... свинками.

Более всего хотел сам утешиться после позорной неудачи перед непокорной женой, не было в ней, кроме царского титула и богатств, вовсе не было ничего привлекательного для такого знатного мужа, как он!

Напали на селение лютичей так же внезапно, как внезапно возникло оно перед ними, обмытое дождем, разбросанное по-над вытянутым небольшим озером, чистое и тихое, не изготовленное ни к обороне, ни к гибели своей.

Гнали из селения свиней, рогатый скот. И людей, связанных, беспомощных, несчастных. Позади них остались трупы безжалостно убитых мужчин, стариков, детей, растерзанные тела женщин поруганных, а после – тоже убитых. Позади них полыхал огонь. Он не поддавался дождю, красными озерами расплескивался над кровлями, и узкое озеро возле селения тоже, казалось, горит, полнится кровавыми отблесками смерти и уничтожения.

Дождь шел и шел. Когда ночью остановились передохнуть, кнехты не смогли найти сушняка на костры. Собранный хворост дымил, стрелял, шипел, давил дымом. Огня не было. Ни обогреться, ни посушиться, а в темноте нападут внезапно, не заметишь.

Не нападал никто. Край был утрашен. Вымер. Железные всадники и кобылы маркграфа вытоптали все живое.

Кнехты чихали от дыма, вытирали слезящиеся глаза, до дури напивались меду. Наглели еще сильнее, чем днем. Гой нам, гой! Ангелы на небо, а рыцари в поле!

...Сон свалил всех. Храпели, хрипели, свистели, бранились во сне, угрожали, пускали из себя гадкий дух, и кобылы пускали – все смешалось.

Пленники ждали утра, связанные по рукам и ногам, лежали вповалку вместе со своим скотом, не спали; псы лизали им руки и лица, тихо скулили: ой горе, горе...

На рассвете ударили со всех сторон. Тихо, умело, безжалостно. У земли славянской есть уши и глаза. Услышали, бросили отовсюду воинов, они шли пешком через болота, через трясины, через непроходимые места – напрямик, наперехват, шли по следам тяжелых кобыл на горький запах дыма, на звуки ругани и похвальбы. Копья такие длинные, что в тумане не видишь наконечника. Боевые секиры на рукоятях в полтора мужицких роста. Луки, закаленные в огне, величиной от пят до бороды. Круглые щиты, обтянутые кожей туров.

Кобылы заржали, предчувствуя опасность. Кнехты беспорядочно барахтались, валились под тяжестью панцирей, утонули в трясине. Тяжелые секиры падали на шлемы, на железо. Людей не видно, секиры падали словно сами по себе. Германским мечом некого достать. Трещат шлемы. Раскалываются черепа.

– А-а-а-а!

Сопrotивлявшихся изрубили, маркграфа и диких баронов схватили, выдернули из панцирей, в одних сорочках выгнали на опушку леса, связали ремнями, снятыми с пленников. Погнали насильников назад. Босых, полуголых, под дождем. По следам их кобыл. Гнали долго и упорно. К сожженному селенью, к озеру, которое, видно, хранило еще в своих глубинах отсветы вчерашних ужасов.

Озеро было ключевым. Даже летом вода, как лед. В такой воде водится красивая сильная рыба. Предки умели выбирать место для жительства. Осенью вода еще холоднее. В этом легко убедиться его светлости маркграфу. Генриха загнали в воду по самую шею. Пускай поостынет. Когда он пытался вырваться на берег, воины брали его на рогатины, как медведя, снова загоняли на глубину. Так до вечера. Бароны страдали под дождем на берегу. К ночи всех пропустили. В одних сорочках. Погнали до болота, плюнули вслед.

Возвращайтесь, откуда пришли...

Пройдет немало дней, пока маркграфа внесут в его замок. Не будут бить в котлы, не будут играть на лютнях, не будет маркграф кивать обнаженным мечом. Будет лежать трупом, хоть и живой, и не помогут ни мудрые аббаты с их молитвами, ни привезенные из самой Италии прославленные лекари, не поможет крапивное семя с медом, не поможет и девясил капуанский – скрючит маркграфа, все двести девятнадцать костей, и уже не поднимется маркграф с ложа, не увидит своей совершеннолетней жены, не будет кичиться, что, мол, после того, как исполнилось непокорной шестнадцать лет, ее препроводят, будто охотничью суку, в его замок, – нет, Генрих умрет как раз, когда воспитанница Кведлинбургского монастыря Пракседа достигает *competentia annorum*.

## Летопись. Генеалогия

Замки строили по принуждению, соборы – из набожности. Епископы проклинали тех, кто приходил на стройку из любви к заработкам. Петь псалмы, признавать грехи, укладывать камень, стараясь, чтобы его положение как можно более приближено было к тому, какое он занимал в скале, из которой вырублен, – вот что поощряли святые отцы, вот чему всячески способствовали императоры. Все в мире шатко, ненадежно, тревожно, мысль не укоренялась в сущее, верилось в чудеса и страхи, потому-то камень и должен был стать как бы залогом продолжительности и прочности государства и церкви. Если, скажем, переселялся монастырь в укрепленное стенами здание, хронист восторженно восклицал: «О счастливый час! О благая минута! О день избавления, когда господь решил перенести виноградник свой из Египта, являя слугам своим милосердие свое в месте, стенами огражденном!»

В укрепленных замках сооружались соборы. В Кведлинбурге, излюбленной резиденции германских императоров Саксонской династии, основано было аббатство для воспитания дочерей знатных семей, построено две церкви в честь местных святых – Серватиуса и Виперта. Жена императора Оттона I Адельгейда стала покровительницей аббатства, с тех пор установился обычай, что аббатисой в Кведлинбурге должна быть императорская дочь, многим при рождении давалось имя Адельгейды в надежде на сию высокую честь, ибо Кведлинбургское аббатство было столь же авторитетно, как и монастыри в Монте-Кассино, Сенкт-Галлене, Рейхенау и Клюни. Когда умер в молодом еще возрасте последний из императоров Саксонской династии Оттон III, что прославился своей ученостью, германские князья, напуганные, видно, слишком ученым императором, на своем съезде рейнском провозгласили императором совершенно неграмотного Конрада, который положил начало Франконскому дому.

Капеллан Виппон, описавший жизнь Конрада, даже в неграмотности императора увидел добродетель, сказав: «Воля божия восхотела оставить тебя непросвещенным в науке, дабы ты, получив на то некоторое время спустя небесное благословение, приобрел христианскую империю». Происходило это, когда в Киеве Ярослав начал строительство Софии. И Конрад попробовал строить, а не зная сам, как то делается, положился во всем на духовенство.

Виппон писал: «Хотя он и был неграмотен, но умел рассудительно управлять духовенством, внешне выражая ему знаки любезности и щедрости, а тайно подчиняя его пристойной дисциплине». Конраду весьма понравилась крипта святого Випперта в Кведлинбурге: могучие сводчатые арки, круглые колонны и четырехгранные столбы – все вдавлено в землю, увязло под каким-то страшным грузом, но оттого кажется еще более мощным, крепким, долговечным.

Император не знал, как называются арки, колонны, столбы, навь, зато в руках его была безграничная власть, потому повелел:

– Поставить такой же собор в Шпеере. Только побольше.

На том строительстве объявился странный человек. Пришел искупить грехи. Работал за всех, а в конце дня брал лишь один динар, на хлеб и на воду. А ведь простой переносчик камней зарабатывал семь динаров, каменщик же – двадцать два. Работал этот человек как бешеный, и прозвали его работником святого Петра, и епископ всем советовал брать его за образец трудолюбия и смирения. Но после восьми дней такой дурной иступленной работы кто-то ударил безумца тяжелым молотом в затылок, и тело бросили в Рейн. Рассказывали, что рыбы вынесли тело его на поверхность вод, и зажгли там вдруг три свечи, и появилась над убиенным святая Варвара, покровительница зодчих, шла по водам босая, в синем хитоне.

Людам хотелось чудес не только небесных, но и земных. Рагимбольд из Кельна ломал себе голову над тем, как сделать каменного ангела, чтоб он пальцем всегда указывал на солнце, движущееся по небосводу, или такого орла, который поворачивал бы голову к священнику,

читающему с амвона евангелие. Или хоть приспособление для обогривания рук епископа во время продолжительной мессы.

Но какое все это имеет отношение к Кведлинбургу, в котором Евпраксия должна была провести шесть лет жизни – от двенадцатого до восемнадцатого?

При франконских императорах, как уже говорилось, Кведлинбург перестал быть излюбленным стольным городом, Генрих III может быть упомянут здесь хотя бы по той причине, что его дочь от первой жены Кунегильды – по имени, конечно, Адельгейда – была аббатисой в Кведлинбурге, как раз когда привезли туда молодую маркграфиню Пракседу. Брат Адельгейды (по отцу, а не по матери) император Генрих IV находился тогда в Италии; так издавна повелось, что императоры Священной Римской империи германской нации почти все свои усилия направляли на укрощение непокорных, особенно же в итальянских землях, о чем речь пойдет особо.

В Кведлинбурге все три года непрерывно строили. В 1070 году стореда старая кирха Серватиуса, осталась от нее только крипта. Над нею соорудили новую церковь, трехнефную, с двумя башнями по главному фасаду и тремя абсидами. Возвели сторожевые башни, обновили палисады, валы, углубили рвы.

В самом аббатстве пестовали сады и монастырские огороды. Был там четырехугольный пруд, по берегам его любила свершать ночные прогулки настоятельница Адельгейда. В скриптории во множестве переписывались дорогие рукописи; для ученых размышлений служил четырехугольный двор, обнесенный каменными аркадами. Аббатство возвышалось над городом, отличалось от замка как отдельная держава мудрости, силы и – еще – привлекательности, ведь все знали, что там, за стенами, – самые красивые и ученые невесты всей Германии, и немало искателей счастья пыталось проникнуть туда, и стоит отметить, что мудрые зодчие позаботились и об этом, сделав ряд окон в аббатстве чуть ли не у самой земли, так что даже пузатый пивохлеб мог легко перевалиться внутрь в келью, коли в ней его ждали. А когда кто-то захотел замуровать окна, бароны подняли шум: «Эти монахи хотят держать наших дочерей и сестер в застенках! Пока бог жив, того не допустим!»

## Шестилетие

Осень в Киеве – в полыханье листьев и костров, в щедрых ловах, в радости зреть великолепие всадников, в тяжелом объединении дичью. А тут осень – сплошная грусть. Серая, как свинец, на кровлях монастырских.

Дома князь Всеволод любил монастыри и монахов, старшая сестра Янка, смирившись с грозным своим предназначением, тоже склонилась душой к высокому, божественному, а малолетки Евпраксия и брат ее Ростислав таких склонностей понять не могли, видно, кровь переяславского Ясеня бунтовала в них и оказывалась сильнее смиренномудрия княжьего. Ростислав с детских лет выдумывал всякие затеи – однажды в Печерской обители он так напугал монахов, что они потом целый месяц кадили в церкви, читали покаянные и очистительные молитвы, а некоторое время спустя о том загадочном событии было записано даже в Печерский патерик: дескать, в час всеобщего бдения многих нерадивых монахов клонило ко сну; один старец увидел, что это бес во образе маленького ляшка в золоченой одежде ходит по церкви, берет из-за пазухи и разбрасывает цветы, прозванные «липками», или «смолками»; к кому цветок прилипнет, тот погружается в сон.

Прежний мир, простой и доверчивый, был теперь для Евпраксии утрачен навсегда. В теперешнем не знали шуток, кроме грубейших, вера не имела ничего общего с доверчивостью. Аббатиса Адельгейда, высокая, вся в черном, старая и молодая одновременно, потому что годами за сорок, а лицом будто девушка, привечала Евпраксию, обходилась как с равной, называла только и не иначе княжной; для правильного обхождения, сказала Адельгейда русской княжне, нужно овладеть немецким и латинским языками, почитать Вергилия и Горация, познакомиться с древними кодексами и хрониками, главное же – привыкать к умению властвовать над людьми, к тому умению, которое германскими императорами и князьями доведено до высочайшего совершенства.

– А зачем? – спросила Евпраксия и не получила ответа. Лишь увидела горделивую улыбку высокой женщины, которая ежеминутно помнила, что ее брат – император Генрих, могучий властелин, который железной рукой покорил саксонских баронов, выступил против самого папы римского, всесильного Гильдебранда. Да у маленькой Евпраксии все это не вызывало ни ощущения значительности, ни даже обыкновенного любопытства: ну, покорил, ну, выступил против папы – дела среди князей привычные, а вот грубостью – грубостью этих людей она была уязвлена в самое сердце, – грубостью, бесцеремонностью и непристойностью, что испытала на себе в замке мужа, а теперь видела в Кведлинбурге, где ежедневно толклось множество лиц, светских и духовных, людей вроде бы не простых, особ значительных, но все они напоминали ей маркграфа Генриха, напоминали мордастого кнехта Хундертхемде; простые кнехты напоминали разбойников, бароны – тоже, – налетали со своими приспешниками на аббатство, будто на вражью твердыню; епископ, который раз в неделю должен был отправлять службу в церкви святого Серватиуса, был таким завзятым охотником, что и проповеди произносил, не сняв охотничьей одежды, а служки тут же, в церкви, держали наготове псов и соколов. Душа Евпраксии съежилась, стала точно с зернышко; девочка с каждым днем погружалась во все более глубокую печаль, стала бояться грубых голосов, ржанья коней, звуков церковных колоколов, ее пугала Адельгейда, что появлялась всегда неожиданно, в торжественно-черном своем наряде, высокая, гордая, преисполненная надменностью (как же, императорского происхождения!), пресыщенная ученостью и, казалось, самой жизнью. Журина успокаивала «дите» свое, каждый день рассказывала Евпраксии, как живут киевские дружинники, как приспособились они, чтоб не изойти тоской, работать в монастыре дровоколами, показывала смешного чело-вечка, именуемого калефактором, попросту истопник (он один топил все монастырские печи), пробовала напоминать и про чеберяйчиков, но Евпраксия оставалась тихо-равнодушной.

Иногда неожиданно спрашивала Журину:

– Ты слыхала про святую Макрину?

– Бог с тобой, дите мое, – пугливо смотрела на нее женщина. – Где б я могла о ней слышать?

– А правда, будто Макрина уже в двенадцать лет потрясала всех своей красотой? – допытывалась княжна.

– Спроси аббатису, – советовала Журина.

– Это она мне и сказала.

Осени здесь, казалось, не бывает конца. Стояла осень прибытия Евпраксии в Саксонию, осень ее несчастного брака, осень кровавой расправы маркграфа Генриха над лютичами и отплаты ему за набег, осень в Кведлинбурге, наполненной воспоминаниями о былом величии, о пышных императорских приездах в столичный город, о приемах иноземных властителей, о высочайших святостях. Здесь жили воспоминаниями и новыми надеждами на величие. Осень пахла дождями, увядшей листвой, гнилостью болот, затхло-кислыми кожухами, шерстью диких животных, которых здесь убивали во множестве про запас, для императора, потому что император... о, нынешний император мог возвратиться из Италии сюда, нагреть для отдыха в аббатство своей сестры Адельгейды.

Иногда Евпраксия пробовала ходить молиться в крипту Виперта, но ее отпугивала мрачность подземелья, камни давили и угнетали; круглые светильники горели с каким-то мрачным исступлением; если вверху свет поражал своей жестокостью, то здесь, внизу, у этих вековых святых он убивал в тебе последние надежды.

Аббат Бодо, приезжавший в Кведлинбург, чтоб исполнять обязанности переводчика и исповедника Евпраксии, приохочивал ее к книгам греческим и латинским, с красивыми миниатюрами, дорогим, роскошным, – их дарили аббатству в течение целого столетия императоры и епископы.

Но читать не хотелось, целыми днями сидела за пюпитром, рассматривала маленькие цветные изображения богов, ангелов, императоров, рыцарей, все выглядело пышным, праздничным, даже муки Христовы представляли в таком роскошестве тонов золотых, червонных, небесно-синих, что казались вовсе не муками, а огромным неземным праздником. Нравилась ей миниатюра из псалтыря. К семьдесят шестому псалму прилагалось изображение исхода из Египта, возле семьдесят седьмого нарисованы были чудеса и язвы египетские, а со сто двадцать шестым связывалась картина столпотворения вавилонского, его можно рассматривать чуть не весь день.

Аббат Бодо, строжась, объяснял молодой маркграфине:

– В псалмах – откровение будущего, повествование о прошлом, правила жизни и душевное успокоение, это – посредники наши в миру и всегдашняя помощь в ночных страхах.

Евпраксию смешил царь Давид, изображения которого столь часто встречались в псалтыри. Перепуганный, бородатый царек молился, каялся, скоромным глазом поглядывал на чужую жену и встревоженно – на ненадежного, способного к измене сына. А то вдруг встречала она и вовсе уж странные картины. Христос на горе, которую окружили волны исступленные. Или единорог, преследующий человека. Человек спасается на дереве. Две мыши, черная и белая, то бишь ночь и день, грызут дерево, а дракон ждет, когда же человек упадет. Что бы это могло означать?

Приходил к Евпраксии и киевский исповедник отец Севериан, бородатый и забрызганный грязью, сердитый на аббата Бодо, который, оказывается, чинил всяческие препоны, чтоб не допускать его к княжне, садился в углу большой белой кельи, бубнил:

– Се напоминание о суетности и ничтожности жизни людской. Ибо что есть человек? Человек есть цвет однодневной, тень беглая, и образ божий и тварь.

– А почему при воскрешении мертвые встают из могил в саванах ярких, как будто свадебные одеяния невест? – допытывалась Евпраксия.

Отец Севериан тяжело сопел, переводя дух и гневно потрясая бородой – видно, посылал мысленные проклятья неизвестному художнику, объяснить же толком не мог. Да и как можно объяснить то, о чем спрашивает дитя? Ведомо ведь, что устами младенца глаголет ежели и не истина, то невинность мира сущего. Даже точный ум аббата Бодо оказывался бессильным перед чистотой Евпраксии. Почему царь Навуходоносор изображен в виде медведя? Почему Фамарь, которая искусила свекра, зовут блудницей, а самого свекра блаженным?

Евпраксии отвели в монастыре немало помещений. Была там даже небольшая трапезная, где могли обедать гости, были кельи для чтения, для хранения книг, для припасов, одежды, драгоценностей. Как и некоторые другие богатые молодые женщины в монастыре, Евпраксия не должна была подчиняться суровым монастырским регулам (правилам) – оно и понятно, если даже монахини кведлинбургские (не воспитанницы временные, а невесты христовы) своим грубым черным одеждам придавали такой покроей, чтобы как можно выразительней подчеркнуть женственность своих форм. Освобождением от семейных уз они пользовались для более удобного удовлетворения греховных страстей, о чем Евпраксия поначалу ничего еще не ведала, лишь удивлялась тому, что в аббатстве всегда почему-то толчется больше мужчин, чем пребывает женщин.

Отца Севериана под всякими предлогами к Евпраксии не пускали, аббат Бодо относился к своему киевскому собрату с нескрываемой враждебностью.

Севериан же нарочито подчеркивал свою непохожесть на этих бритых аббатов, пугал всех своей бородищей, рыжими старыми сапогами, до отказа изношенными, выцветшим платьем, тяжеленным золотым крестом, из которого можно было б сделать с десяток вон тех крестиков, что болтаются на впалой груди аббата Бодо. Отец Севериан прокрадывался к княжне в самое неожиданное время, иногда заставал у своей духовной дочери противника, и тогда оба забывали о молоденькой княжне, она себе могла рассматривать миниатюры, выйти в монастырские сады, лечь спать – исповедники схватывались в своих бестолковых спорах о вере, глаз в глаз, лоб в лоб, гремели обвинениями, обменивались проклятиями и руганью, чуть ли не плевали друг на друга, дай им мечи в руки – так неизвестно, не изрубили б они друг друга...

– ...Ибо погрязли в блуде! – потрясал огромными кулаками перед маленьким сухим личиком Бодо отец Севериан. – Употребляете опресноки, еже идет от жидовского служения вере и многих ересей начаток и корень. Не соблюдаете поста в первое воскресенье сорокадневия, не разрешаете священникам женитьб, запрещаете им же творить таинство миропомазания, добавляете к символу веры «И от сына», а се ересь и всех зол верх.

– А вы... а вы продаете дары божьи, ако симониане, – перечислял грехи греческой церкви аббат Бодо, – делаете евнухами в Византий пришлых, аки валезиане, и поставляете их не только в простые клирики, но и в епископы.

Подобно нечестивым арианам, перекрещиваете христиан, крещенных во имя святой троицы. Словно донатисты, утверждаете, якобы нет иной церкви, кроме вашей. Словно николаиты, разрешаете брак служителям алтаря. Словно севериане, порицаете закон Моисея. Как духоборы и богоборцы, исключили из символа веры, что дух святой исходит и от сына. Вместе с махитеями говорите, что одушевлено кислое. Сходно назареем, придерживаетесь жидовских очищений, раньше восьми дней не разрешаете крестить младенцев, пусть даже и умрут некрещеными, роженицам не даете причастия, и не допускаете общения с теми, кто стрижет волосы и бороду по обычаю римской церкви!

А отец Севериан мигом перечислял все ереси, которые он находил у латинян: савелианство, жидовство, македонианство, анолинаризм, армянство, монофилитство, монофизитство, арианство, несторианство, иконоборчество.

Евпраксия до той поры даже не представляла себе, что на свете может существовать столько непонятных слов. Ей хотелось смеяться над этими двумя старыми, разум терявшими от взаимных обвинений мужами, что разжигались больше и больше, забывали о святости своего сана и становились похожими то ли на пьяных кнехтов, то ль просто на безумцев.

– Ты забыл о своем долге, – гремел аббат Бодо, обличая Севериана, – и ведомый неутоленной похотью, будучи более глухим, нежели осел, чавкаешь на святую римскую апостольскую церковь. Ты не пресвитер, а заскорузный во зле, проклятый столетний мул! Тебя можно скорее принять за язычника Эпикура, чем за священника, не в императорском монастыре тебе пребывать, а в амфитеатре возле зверей или же в лупанарии!

– Замолкни, – огрызнулся отец Севериан, – прикуси, нечестивец, свой собачий язык! Не разумеешь, что речешь и что утверждаешь! Глупый, считаешь себя умней семи мудрецов. Научись же хотя бы молчать, ежели до сих пор не научился говорить, а лишь лаешь, аки шелудивый пес!

Евпраксия хлопала в ладоши в восторге от таких отборных слов, затем звонила в серебряный колокольчик, вызывала Журину и велела дать святым отцам пива.

За пивом страсти утихали, исповедники молча поглядывали друг на друга из-за кружек, и души их, смягченные крепким напитком, готовы были к примирению; оба вспоминали и о Евпраксии, конфузливо улыбались княжне, а она выходила от них надменно-прямо, холодная, неприступная, чтоб за дверью упасть на руки Журины, зайти в детском плаче, содрогаясь всем телом.

Зачем ей все это? И сколько так будет длиться?

А то пробуждалась в ней снова жажда жизни, и она принималась примерять наряды, любоваться украшениями, перебирать драгоценные безделушки; затем опять впадала в отчаяние, звала Журину, плакала перед ней: «Зачем все это?» Будто Журина что-нибудь знала. Да нет – не знала.

Была простой женщиной, со своей болью (сынок Журило, одногодок Евпраксии, остался оторванным от матери), да и в аббатстве у нее хватало хлопот: топила печи, готовила к службам лампы и свечи, мела мусор, чистила овощи, еду варила, еще и в трапезной прислуживала. О том, что и она женщина, как-то все забывали, сама – в первую очередь, наверное. Если бы осталась дольше в замке маркграфа, неизвестно, что бы там с ней произошло, а тут – скрытная, вечно озабоченная, накрепко привязанная к молодой княжне. Журина отреклась от всего, что суждено бывает женщине, вовсе не старой, привлекательной, опытной, умелой.

Каждый день тянулся медленно и тяжело. Семь раз в сутки монастырский колокол отбивал время для канонических молитв. Сутки делились свечами на двадцать отрезков: сгорало двадцать свечей белого воска. В кельи баронских дочерей свечей отпускалось по семь. Для экономии, а еще для сокрытия того, что приходится скрывать. У Евпраксии горели все двадцать – днем и ночью.

Чтоб тьмы не было никогда. Потому, как, не дай бог, обидят ребенка! Могли обидеть, могли. Ибо в мире царит блуд, царят мечи и секиры, бури и волки, а люди – тоже как волки. В аббатстве много молились, но молитвы словно плавали поверх жизни, не проникая ни в души, ни в повседневное бытие. К тому же для киевлянок молитвы были чужие, малопонятные: Евпраксию не трогали, а Журина и вовсе ненавидела их. Попов видела чуть ли не каждый день, а своих дружинников от случая к случаю. Спрашивала Кирпу сочувственно и ласково:

– Ну как тебе?

– Живу! – передергивал косые плечи. – Ни пес, ни выдра.

Сказать ей больше не отваживался. А хотелось кое-что сказать, еще как из Киева выехали. Эх, жизнь дружинника! То бегаешь на рати со своим князем, то князь бросает тебя, и бегаешь ты уже один. Эх, ни пес, ни выдра! С первого взгляда на Кирну не верили, что он так

умеет рубануть мечом, что рассекает человека на две половины. А тем паче не поверит какая-нибудь женщина, что косоплечий полюбить может горячо.

Его дружинники тосковали по Киеву. Тосковать по целому городу – это уж так говорится, ну, а вспомнит человек что-то из прежней жизни в Киеве – вот тебе и грусть. Один жену вспомнит, другой – пса, третий – сапоги, что износил в Киеве давно, а у того было точильце для меча, ох, и точильце ж было, тут такого не найдешь, хоть камней гибель. А главное – в Киеве люд свой, кругом свои, не сосчитать их, а тут своих всего восьмерка, да девятый воевода Кирпа. И всем видно, что жизни нету. В Киеве чисто поле, а где оно здесь? Куда поедешь? Сиди и жди, пока заучит княжна все говоры-разговоры. Ну, заучит, а тогда?

Журина иногда напевала: «Ой, пойдём-ка, брате, свечок покупати, чтоб перва горела, как я заболела, другая пылала, как я умирала!» Евпраксия чувствовала, что замирает, засыпает в ней родная речь. До ее двенадцати лет жила, теперь пропадает. Родное слово молодо. Латынь же стара, как мир или камень. А Евпраксии легко открывалась и латынь, и язык германцев, хоть он у баронов был один, у аббатов второй, у кнехтов третий, у крестьян свой, непохожий на другие, так что толком никто никого и не понимал.

Евпраксия понимала каждого, потому что схватывала то, что подразумевалось меж слов. Радовалась своему умению, а заслушит пеньё мамки Журины:

«...другая пылала, как я умирала...» – и опять вокруг тоска смертная. А жить хотелось!

Дни шли неодинаковые: то прозрачные, то подернутые сумерками, притемненные, нахмуренные, то снова ласковые, пронизанные золотым блеском, такие прекрасные, что готова была жизнь целую отдать еще за один подобный.

Где-то был Киев, где-то были чеберяйчики, для нее теперь они сравнялись в невидимости и непостижимости с Киевом. Еще был где-то муж маркграф, умирающий в бессильной злобе, чужой и вражий. Аббатиса Адельгейда каждый раз, когда встречалась с русской княжной, говорила об одном: все ближе-де время приезда брата моего, императора, в Кведлинбург.

О самой же Адельгейде рассказывали: ходит по ночам к юнцам, которые ей приглянулись. Ночами темными приходит, горячая и неистовая, ровно дьявол, а лицом ангел. Такая-де кровь у них императорская. И у сестры, и у брата.

Иногда Евпраксию разбирало любопытство: каков же он, император? Но тот что-то не спешил из Италии в Кведлинбург.

## Летопись. Императорская

Про Генриха сказано было: «Стал императором, когда еще темя не заросло».

Его отец, император Генрих III, умер изнуренный бесконечными походами против непокорных итальянцев. В Италии он потерял первую свою жену и сына от нее, в Италии его преследовали неудачи, унижения и позор, из Пармы убежал столь быстро, что, выпрыгивая из окна, сломал ногу и потому прозван был мстительными итальянцами Калеккой. Со второй женой Агнессой из Савойского дома прожил всего лет пять и умер все в той же Италии, на которую потратил жизнь.

Генрих III—*Linea justitiae*, то есть «путь справедливости». Еще называли Черным и, как сказано, Калеккой. Кому что сделал, тот и называл императора в соответствии со сделанным. Так повелось издавна.

Смерть властелина всегда неожиданна. Наступает кратковременная растерянность, затем все разом бросаются на то, что называется властью.

Адам Бременский так писал об этих событиях: «Управление государством, по праву наследства, перешло, к великому вреду для всех, в руки женщины и дитяти. Князья, с возмущением противясь правлению женщины и власти дитяти, первоначально, дабы не оставаться под гнетом такого рабства, вернули себе старинные вольности, а потом начали между собой спор, кто из них могущественнее, и наконец подняли оружие против своего государя с намерением свергнуть его с престола. Все это легче было видеть глазами, чем теперь описать пером».

Закончилось дело тем, что самые могущественные духовные владыки германские архиепископы Адальберт Бременский и Ганно Кельнский были провозглашены правителями, что должны были опекунствовать над малолетним королем. «Хотя на словах, – как отмечает хронист, – они были миролюбивыми, сердца их бились смертельной ненавистью друг к другу». Оба забыли о духовных обязанностях, отличались не святостью, а любовью к суете, сей служанке знатных. Оба, как сказано некогда о Ксерксе, намеревались перейти море и переплыть землю. Каждый чем дальше, тем яснее понимал, что превзойти своего соправителя можно только одним способом: забрать власть над малолетним императором. И вот, забывши о своем сане, выкрал Генриха сначала Ганно, пряча его от матери и от своего соперника, потом то же самое сделал Адальберт. Ганно пытался повлиять на Генриха суровостью, Адальберт, наоборот, уступчивостью. Тот угнетал молоденькую душу, выращивал в ней жестокость зверя, этот ее развращал и тоже пробуждал в ней наклонности бесчеловечные. Магдебургский клирик Бруно, не принадлежавший к сторонникам императора, сложил жизнеописание его детства и юности и вынужден был прибегнуть к словам неприятным. Дескать, Генрих испорчен был уже самим своим рождением, ибо лучше коль человек становится императором, нежели рождается им. Маленький император куда больше кичился знаками своей высшей власти и куда меньше старался достичь успехов в приобретении мудрости пред богом и людьми. Ганно слишком круто взялся за воспитание, руководствуясь словами писания, что царь ненаказанный погубит люди своя. И чего же добился? Когда Генрих, как пишет хронист, «переступил век простодушного детства и достиг юности, коя имеет такой простор для всего дурного, и когда, таким образом, увидел себя в том пункте, где самосская буква расходится в две стороны, он, оставляя без внимания ее правую, тесную и крутую линию, избрал для себя левую дорогу, широкую и удобную, уклонился решительно от стези добродения и вознамерился всецело отдаться своим страстям».

«Самосская буква» – ипсилон. С этой буквой Пифагор из Самоса сравнивал дорогу человеческой жизни: сначала общая дорога жизни, затем раздвоение: направо – тонкая и узкая линия добра, налево – широкий путь зла. Как видим, клирики уже в те времена увлекались пышными выражениями, особенно в случаях, когда вели речь о высших личностях в государстве.

Не пренебрегали и обыкновенным анекдотом. Так, тот же Бруно рассказывает: Адальберт Бременский на роскошные яства молодому императору израсходовал все свои запасы, и стольнику не на что было приготовить обед, и вот тогда архиепископ просто спрятался в капелле и сделал вид, что ревностно молится. Стольник начал стучать в дверь. Архиепископ, услышав стук, пал на пол, будто совсем уже в отрешенном от всего молитвенном рвении. Стольник, тихо войдя в капеллу, начал покашливать, чтобы обратить на себя внимание архиепископа. Тщетно. Тогда стольник распростерся рядом с Адальбертом и начал шептать тому на ухо: «Помолитесь, чтобы вам было что сегодня поесть, ведь пока нет ничего, что можно бы с честью поставить на ваш стол». Адальберт вскочил на ноги: «Дурень! Что ты наделал! Ты прервал мою беседу с богом! Если б ты видел хоть раз мою беседу с ангелами, как сподобился мой живописец Трансмунд, ты никогда бы не осмелился приблизиться ко мне в час молитвы!..»

Клирик Бруно не находит для Генриха ни единого сочувственного слова.

«К чему привык человек в детстве, – приводит он слова царя Соломона, – того не оставит и в старости!»

Люттихский епископ Отберт написал историю жизни Генриха, можно сказать, в противовес озлобленному канонику Бруно. Лишь говоря об архиепископах Адальберте и Ганно, он соглашается с клириком: «Самое худое – что они дали полную свободу юношеским увлечениям Генриха, вместо того чтобы хранить его душу, как за печатью».

Правда, тут же Отберт торопливо добавляет: «Став самостоятельным, Генрих осудил многое из своего прошлого и исправил то, что было возможно.

Начал преследовать вражду, насилие, хищничество».

И дальше об императоре говорит уже только так: «Он владел миром, бедные владели им, ему служил мир, а он – бедным».

Или: «В толпе князей он заметно выделялся над всеми и казался выше, а в грозных чертах лица сияло некое особое достоинство».

И еще: «Он видел, будто глазами рыси, у кого на сердце к нему лежала любовь, у кого – ненависть».

Не забыто и это: «Генрих внимательно слушал чужую речь, а сам говорил мало и, лишь выждав мысли других, высказывал свою».

При нем, мол: «Правда имела силу и власть – право».

Через девятьсот лет трудно судить, кто прав, где истина, каким на самом деле был император? И одинаковым ли оставался всю жизнь? Ведь тот же, например, Отберт, столь высокими словами начинавший свою историю жизни Генриха, далее пишет: «На этом я хотел бы прервать речь, ибо теперь приходится коснуться раздоров, коварства, злодеяний, о которых писать правду опасно, а врать – преступно».

Тут начинается сплошная запутанность и, так сказать, отрывочность как в судьбе самого Генриха, так и в его мыслях.

Жизнь Генриха полна таких приключений, что их хватило бы сотне, а то и тысяче императоров. Однако прозвища никакого он не получил ни от современников, ни от потомков. Не смог ясно выразить себя, своих намерений? Быть может, благодаря этому уберется от прозвища, которое приклеивают чаще всего человеку деятельному, но неминуемо ограниченному в своих деяниях.

Ограниченность еще может обернуться определенностью. Ею Генрих не прославился. Изменялся всю свою жизнь.

Сколько раз? И сам не припомнит.

Вон как часто сбрасывает старую кожу гадюка. Чтоб сбросить, ей нужно каждый раз за что-нибудь зацепиться. За твердый стебель, за палку, за камень. Больно, но нужно тереться и обдираться. Не вышло с одного захода, начинает снова и снова.

Он был всяким, но довлекло над ним с рождения самого одно слово: император. Бросался в прихоти, в разврат, в жестокость, в бесчинства.

Потом становился хитрым, осторожным, осмотрительным. Не выдерживал долго.

Снова понесло, закрутило, снова захотелось безграничной свободы для себя, захотелось сыпать щедроты и блага люду. Надолго ли? Пока побеждал врага самого страшного и могущественного во все времена: римского папу. В той борьбе обессилел, истощился, навсегда прилипло к нему слово, которым обозначают высшую степень человеческой покорности: Каносса. Тысячу лет потом будут говорить: «Идти в Каноссу». А это он ходил – император Генрих.

С кем ходил? С женой, с малолетним сыном и с Забушем.

О Забуше в хрониках нигде ничего не сказано. Ибо кто это, Забуш?

Барон без подданных, человек без значения, уродливая тень императора Генриха.

## Шестилетие (продолжение)

Кведлинбургское аббатство пыталось сравняться своими садами с прославленным аббатством Рейхенау, что же до огородов, то равных кведлинбургским нигде не было, а после того, как в аббатстве появилась Журина, тем паче. С весны и до поздней осени не отрывалась она от теплой земли, и хоть земля здесь не такая щедрая, как в Киеве, все ж старанье и рвенье даром не пропадают; лоскутки монастырских огородов, разбросанные меж прудами и садами, ошеломляли каждого своим языческим буйством, пышно разросшейся зеленью, кустистостью, сочностью, первозданностью красок, нежностью и неповторимостью каждой, там не хватало уже места для щедрот земли, приходилось ставить подпорки и колышки, пускать вьющиеся растения вверх, тем самым будто поднимая огород в воздух, и тогда огурцы росли по-над землю, всевозможная ботва протягивалась к солнцу, образуя прозрачно-зеленые стены. Наибольшую радость приносила Журина фасоль, причудливейшее растение: она обвивалась, оплеталась вокруг густо поставленных деревянных шестов и подпорок, свободно расправляла вьющиеся батожки-стебли; фасоль напоминала знакомый еще с детства лесной хмель, только без шершавости листьев и стеблей, была она нежно-бархатной, будто прикосновенье детских пальчиков; закрученными кончиками своих батожков щекотала за ухом, игриво прикасалась к шее, проказливо пробиралась за пазуху, и тогда Журина невольно заливалась краской, прижимала скрещенные руки к вырезу сорочки, озиралась пугливо, по-девчоночьи, будто и не была зрелой женщиной. Фасоль разрасталась неудержимо жадно. Ее шелковисто-зеленые заросли создавали в огородах какие-то улочки и тайные укрытия, недоступные для постороннего глаза убежища. Становились нужны новые и новые шесты, и тогда Журина звала на помощь воеводу Кирпу, по привычке спрашивала:

– Ну, как живешь, Кирпа?

– Ни пес, ни выдра! – отшучивался Кирпа, переступал с ноги на ногу возле фасоли, заглядывал в огородные улочки и затененные укрытия, потом бросал взгляд и на Журину, взгляд словно бы и обычный, случайный, но женщине становилось не по себе от пристального взгляда: преодолевая чуть ли не обморочное состояние, на какой-то миг овладевающее ею, Журина торопилась отвлечь внимание Кирпы, говорила:

– Смотри – фасоль. Правда, как наша?

– А мы чьи?

Она умолкала. Чьи? Она не принадлежала самой себе. Чья она? Ничья. Да и будет ли теперь чьей-нибудь?

Кирпа умело ставил шесты. Он, видно, все на свете делал умело, быстро и в охотку.

Земля была мягкой и теплой: тепло держалось уже длительное время, даже прекратились надоедливые дожди, от которых у человека здесь навеки мягчают кости. Кирпа размягчался от тепла и от эдакого буднично-домашнего занятия – вроде и не воин, вроде пропадала и пугающая скособоченность, он стоял среди гряд в длинной рубахе, в изношенных портах, босой, простоволосый, какой-то и вправду совсем домашний.

Однажды не выдержал. То ли пошутил, как всегда, то ли не шутя сказал с какой-то безнадёжной горечью:

– Пришла бы ты сюда ночью, в эти заросли.

Она прикинулась, будто не понимает, но горечь в словах его что-то тронула в душе.

– Я уже здесь, зачем же ночью приходиться?

– Тогда бы и я, может, пришел...

– И ты сейчас тут.

– Тут, да еще не тут...

Билась жилка на шее, опять какой-то сладкий обморок разлился по всему телу. Пусть случится, как должно случиться и что должно случиться.

Но Кирпа принялся за работу, умело вбивал острые шесты в мягкую землю, умело укреплял их, и получалось, будто он отдаляется от Журины с каждой забитой палкой. Когда кончил работу, немного постоял, не оглядываясь, глухо спросил:

– Так как? Придешь?

– О чем ты, Кирпа? – переспросила, сразу же и пожалев об этом, но он обернулся к ней, ослепляюще улыбнулся:

– Ну, не при солнце будь сказано...

И, откинув чуть назад тело, словно мечом рубанет сейчас, двинулся на нее, и она очутилась в его неуклюжих объятьях, ударила об него телом, сорочка на сорочку, грудь на грудь.

– Господи, стыд какой!

Он не мог оторваться от нее, да и у нее тоже не было такой силы, но в женщине всегда живет стыдливость, страх и нерешительность.

– Увидят же! Что ты делаешь, Кирпа!

Он отпрянул от нее, озябло отошел на шаг, его перекосило больше, чем обычно. Сказал твердо:

– Жду тебя здесь, как стемнеет.

Молчаливое согласие выведal в больших ее глазах.

Украдкой сошлись они ночью, сразу же нашли друг друга, забились в глубь непроходимых зеленых зарослей, мягкая земля ласково приняла их; они дотрагивались друг до друга с жадностью слепых, что встретились после долгих блужданий по безлюдной пустыне, слова не нужны были им, речь перешла в пальцы, в руки, стала прикосновениями, они узнавали и не узнавали самих себя, задыхались от нежности, утопали в ней, чувствуя, что вот-вот погибнут. Почему так поздно встретились, почему так долго не могли найти друг друга, почему, почему, почему? Длинные косы Журины рассыпались по земле, оплетали Кирпу, как живые, из них, чудилось, вылетали искры; зеленый тайник, озаренный каким-то дивным светом... тишина вокруг такая, будто все на свете умерло, только они живут... да в самом деле только они и живут, а больше никто.

Земля была мягкой, клочок земли в густом беззвучном зеленом свете доброй фасоли точно такой, как в далеком Киеве, и вокруг темнота, в которой тоже было что-то киевское, хотя от воспоминаний они оба были далеко-далеко. Да и зачем вспоминать прошлое? Оно теперь не поможет, позади и нет ничего, а они здесь, ныне и присно и во веки веков, ныне, ныне, ныне!

Кирпа гладил ладонями лицо Журины, ее плечи, руки – всю Журину и то место, тот клочок земли, который был ее ложем.

– Вот. Бьются люди за землю. А земля каждому – лишь бы поместилась на ней та, кого любишь. Больше и не нужно.

Журина тихо засмеялась.

– А фасоль?

– Фасоль пускай растет вверх. Как груши.

Журине хотелось плакать. Ну, почему они так долго не могли найти друг друга, почему? Жизнь так коротка и так жестока. Бьются люди. Молятся.

Страдают. Князь стоит над всеми, платит тем, кто убивает, и тем, кто лечит. Бессмысленно и страшно. А жизнь ведь короткая...

Она лежала на спине, всматривалась в темноту: почему-то показалось, что это не фасоль растет вокруг, а молодо шумит весенняя пуща, в глазах ее – раскачивались деревья, шептала листва, пели птицы, пели, потому что не знают печалей, не ведают про боли и страдания людские.

Кирпа словно разгадал ее мысли, ласково-осторожно гладил ее тело и непривычным голосом говорил:

– Не могу жить в камнях... Тянет меня в лес, чтобы там лечь под деревом и слушать, как шелестит жито на опушке...

Она хотела сказать: «Послушай нашу фасоль». А подумала: «Меня послушай». Сама же слушала его. Вот тебе и косоплечий! Вот тебе и зубастый пересмешник!

Так началось между ними. Днем все привычное, только ожидание ночи нетерпеливое, лихорадочное, встревоженное, будто могла найтись какая-нибудь неведомая сила и сдернуть полог ночи над аббатством.

– Я думала, монахини дурные. Ведь кто же умный пожелает заточить себя на всю жизнь в этот камень? А теперь и сама отсюда никуда бы не рвалась.

– А мы с тобой не среди камня – мы среди фасоли.

– Тайник надежнее камня.

– В фасоли – и такое счастье! А я говорил: ни пес, ни выдра.

– Оборвал ты мне корни сердца...

– Вот сделаю дырку в стене фасолевой, угадай, что увидишь?

– Не знаю.

– Звезду. Низко-низко. Протягивай руку и бери.

– Звезды – это для нас. А луна взойдет – так уже для аббатисы.

– А правда, что она при луне ходит голая вокруг прудов?

– Не говори так: грех.

– А что такое?

– Никто не видел, ходит Адельгейда или нет.

– И видеть не нужно, можно догадаться.

– Она ведь нам не мешает.

– Сама говоришь: будет мешать луна.

– Ну да, она вот нам враг.

– Прокрадемся украдкой и при луне.

– Молчи! Накличешь беду. Совы кричат над аббатством...

– А что нам совы?

Он был беспечный и отважный. А что нам совы!

А совы кричали над аббатством, старые, седые, слепые. Никому не предвещали счастья, всем напоминали про тьму и зло, напоминали про смерть, про убийства, про войны. Император не возвращался из Италии, император вел свои войны против папы, против графов, против гор и равнин, против людей простых, против отцов детей убитых и детей еще не убитых, а затем уже и за детей принимался. Войне конца не было, потому что отцы, что утратили детей, хотели, чтоб другие отцы тоже потеряли своих детей, по-иному не представляли себе справедливости. Война была словно непрерывное, вечное отмщение неведомо кого, неведомо кому.

Император дождался наконец смерти самого лютого своего врага, папы Григория. Прервалось дыхание человека, изгнанного из Рима, потерявшего власть и влияние, попавшего в плен к Роже Сицилийскому, бывшего германца Гильдебранда, ставшего римским понтификом, главой римско-католической церкви, человека, в течение десятилетия потрясавшего королевствами и империями и положившего начало, чуть не на тысячелетие вперед, раскол Европы, – сей человек оставил бранный мир, и Генриху можно было успокоиться на некоторое время, отдохнуть от трудов великих. Император решил-таки покинуть юг, никто не знал, где он появится раньше: в Госларе, любимой столице его отца, который построил этот город на месте водяной мельницы, или в Вормсе, или в Майнце, или в старинной столице германской Бамберге, а может, и в Кведлинбурге, где не нужно будет восседать в неудобном императорском дворце, где можно спрятаться от трудов и забот в тихом аббатстве сестры Адельгейды.

В Кведлинбурге кололи свиней, запасали колбасы и копчености, ловили перепелок, потому что «перепелки по-кведлинбургски» было любимое блюдо Генриха; все в городе жило ожиданием высокой минуты, когда раскроются ворота, загремят мостовые цепи, ударят в котлы, заиграют на лютнях, зазвенит оружие, засверкает золото, заведут стяги императорские.

Пришла весть о смерти маркграфа Штаденского, и Евпраксия оделась в жалобу. Во всем черном стала еще тоньше, еще стройней, годов, проведенных в аббатстве, незаметно по ней – все такая же девочка, хотя уж и вдова, и в жалобе, хотя и... Сравнялась судьбой с Янкой, сестрой в Киеве. Янке отец возвел монастырь, она собрала туда девчат из богатых семей, хотела обучать разным наукам, наверное, все о боге. А Евпраксия?

Что ж ей делать-то теперь? Навеки оставаться в монастыре? Рядом с ней Журина, отец Севериан-исповедник, несколько дружинников с Кирпой.

Возвратилось ее богатое приданое киевское: возы, кони, верблюды, колеса. А ни земли своей, ни убежища.

Адельгейда успокаивала:

– Вот приедет император.

А ей какой прок от императора? По возрасту он, кажется, равен князю Всеволоду. По значению? А для нее-то что значит чье-то значение? От великого князя из Киева ничего: ни вестей, ни советов, ни соболезнования.

Император не знал ее, она не знала императора. Одни слухи – и все. Среди них такой: у императора умерла жена Берта; оставила Генриху двух сыновей:

Конрад – молоденький, как Евпраксия, другой – Генрих, еще моложе, ребенок.

Адельгейда объяснила:

– У императора нет детей.

– А кто же эти? – удивлялась Евпраксия.

– Наследники... У него и жены не было.

– А кто же?

– Императрица. Ненавидел ее.

– Он всех ненавидел?

Адельгейда не ответила. Она знала о брате больше, чем кто бы то ни было. Еще семнадцатилетним он в бесчинствах зашел так далеко, что подговорил своего злого, ближайшего своего в любой мерзости напарника Забуша (до сих пор не могла вспомнить об этом без ужаса и отвращения) изнасиловать ее, Адельгейду, не простушку – какую-нибудь девственницу, не чужую жену, а ее, императорскую дочь, аббатису Кведлинбургскую. Как-то летней ночью, возле четырехугольного пруда... заманили, напали вдвоем... император заломил сестре руки, а тот, Забуш, торопливо рвал с нее одежды, мял нетронутое тело; из страха уже не за себя, а за императорское имя она не кричала, лишь стонала глухо, а Генрих насмеялся и над ней, и над насильником:

– Забуш, я буду держать только руки. С ногами управляйся сам. Ноги у женщин не для обороны. Они созданы природой для покорности и для мужского наслаждения.

Она должна бы проклясть Генриха, а вышло?.. Саксонские князья, ища поводов для войны против императора, дважды собирались, обсуждали позорное насилие над родной сестрой. Адельгейда отказалась обвинить брата.

Чувствовала: падает туда, где кишат дьяволы и где для такой, какова она, теперь найдется место, однако святость императорского имени была для нее превыше всего. Жертвовала собой не для Генриха – для самой идеи императорства и, следовательно, в какой-то мере и для себя.

Генрих опомнился, возможно, даже испугался своего поступка. Позвал Забуша к себе в Гарцбург. Тот отправился из Гослара даже без оруженосца, решив, что речь идет о тайном совете у императора, и гордясь его высоким доверием к себе. По дороге в одном лесу Забуш

заметил засаду и, хотя не подумал, что это против него, на всякий случай спрятался в ближней церкви.

Бургграф Мейссенский Бургхард поехал за ним, дал слово чести, что с Забушем ничего не случится, если тот выйдет из церкви. Забуш не поверил.

Но, понимая, что святость церкви не остановит нападающих, если они действуют по воле самого императора, вышел и отдал себя в руки Бургхарду.

Его загнали в чащобу и посекали мечами. Император сообщил сестре, что она отмщена, а потом узнал, что Забуш выжил, потерял ногу, весь в рубцах – однако живой! Некие высшие силы, видно, сохранили этого в конец испорченного, но тем, может, и дорогого императору человека.

Генрих навестил еще больного Забуша, даровал ему баронский титул, правда, без земли и без подданных, приблизил к себе еще больше – с тех пор сей человек стал довереннейшим слугой Генриха. Бежать не мог, потому как одноногий, изменить тоже не мог, ибо для кого же? Покинуть? Без имущества не покинешь, все попытки что-нибудь получить уже давно оставил, – в ответ каждый раз император смеялся:

– Зачем земля тому, кому принадлежат все места, где свиньи жируют<sup>2</sup>?

После императора ты – могущественнейший человек в империи!

Каждый раз, приезжая в Кведлинбург, Генрих сталкивал Адельгейду с Забушем. Он любил, когда люди ненавидели друг друга. Привозил Забуша, чтобы тот укреплялся в ненависти к Адельгейде вблизи. Адельгейда ненавидела Забуша добровольно, без принуждения. А влекутся друг к другу люди незаметно, и с течением времени ни она, ни Забуш не могли различить, что же между ними – вражда или любовь? И ждала Адельгейда приездов императора в Кведлинбург с испугом, с ненавистью, а одновременно с затаенным нетерпением: вместе с Генрихом неминуемо должен был приехать и Забуш.

Наступила зима, не знать уж и какая по счету зима на чужбине для Евпраксии. Времена года – медленные, одинаково печальные, будто плакучие ивы, не приносили ей ничего, даже весть о смерти маркграфа не удивила, потому что умер он для нее в ту, в первую и последнюю, ночь, когда боролась с ним, а потом в отчаянии хотела покончить с собой (да Журина не дала).

Дни были наполнены привычно-бестолковыми спорами отца Севериана и отца Бодо, сдержанными разговорами с Адельгейдой, тоской, раздражительностью, когда не хотела видеть никого, прогоняла прочь даже Журину, не читала книг – новые для себя языки словно забывала в такую пору, язык детства не вспоминала: тяжело было вспоминать, от слов осталась лишь летучая тень, ничего больше.

По ночам над аббатством кричали совы, было страшно и одиноко, Евпраксия нетерпеливо ждала снов, своего единственного богатства. Ее сны брели через реки, проскальзывали под зелеными ветвями деревьев в пущах, пролетали долины, искали Киев, потаенный в золотой грусти церквей.

Зимней ночью приснился ей белый ангел. И руки у него светились золотистым огнем. От радости Евпраксия пробудилась и увидела Журину со свечой в руке.

– У меня уже горит одна, – сонно сказала Евпраксия.

– Принесла еще одну.

– Зачем же сразу две?

– Говорят, император въехал в Кведлинбург. Пусть горят у тебя две, ты ведь княжна.

– Я уже забыла об этом. А император где?

– Не знаю. Не видела его. Видела одноногого.

– Кто это?

---

<sup>2</sup> Игра слов. По-немецки: Sau – свинья, Busch – кустарник, Saubusch – лесные заросли, где много желудей и дикие свиньи нагуливают жир.

- Не ведаю, дите мое. Страшно что-то мне стало. Понесла тебе свечу.
- Ты не бойся, – сказала Евпраксия.
- Не боюсь, а страшно.

Обе притворялись, будто ничего не знают об одноногом. На самом деле знали уже давно: одна от Адельгейды и баронских дочерей, другая – от монахинь. Да и ожидали все эти годы в Кведлинбурге то ли императора, то ли, может, еще больше – Забуша. Адельгейда – с давней ненавистью вместе с позднее возникшим и стойким вождением, женщины в монастыре – с ленивым любопытством. Будет ходить Адельгейда нагая возле прудов? В особенности возле того, четырехугольного.

Император приехал неожиданно, среди зимы, приехал в трауре, похоронив жену, въехал в Кведлинбург тихо, заперся во дворце, сестре не дал о себе знать, хотя, казалось бы, должен был делить траур совместно, да и для скорби душевной аббатство больше подходит, чем большой пустынный дворец, холодный, темный, чужой.

Откуда взялся в аббатстве Забуш и почему очутился там сразу в ночь императорского приезда? Журина проходила через двор аббатства; в темноте тускло белели каменные аркады; она неслышно ступала по плитам; осталось пройти еще немного под аркадами и свернуть на половину Евпраксии, но ее будто ждали в затененном переходе, навстречу качнулась высокая гибкая темная фигура, прерывисто простучало по камню: стук-стук, и она тут же догадалась, что это Забуш, хотя прежде никогда не видела его и не слышала стука его деревяшки, даже не знала, носит ли он деревяшку или просто прыгает как-то на одной ноге, а может, носят его, как барона, первого приближенного императора, в золоченой лектике. Темная фигура, стук деревяшки по каменным плитам, неожиданное ночное видение – Журина испугалась и остановилась. А он подошел к ней, стал всматриваться в лицо, глаза у него были большие и темные. Журина вдруг вспомнила разговоры монахинь про то, что Забуш отличался незаурядной мужской красотой, чьей-то чужой красотой, а тут вспомнила и подумала: вот – появился, и враз подтвердил все рассказы о себе и ее худшие предположения, потому как нахально протянул руку к лицу Журины, взял ее за подбородок, спросил удивленно-недоверчиво:

- Так это ты – княжна русская?
- Не видишь? Ее мать.
- Еще лучше. Иди-ка ближе.

Неожиданно почувствовала в себе дерзость.

- Подойди сам! – ответила с вызовом.

Он засмеялся.

- Дервяшка мешает. Хочу, чтобы ты.

– Я не хочу.

– Заставлю.

– Никто не заставит.

– Мне это нравится. Глянь-ка на меня. Я – Забуш. Слыхала?

– Догадалась.

– Значит, договорились. – Он попытался схватить ее руку, Журина не далась.

– Не со мной.

Рванулась в сторону, побежала от страшного барона, легко, быстро, словно вспугнутая девочка. Вдогонку услышала:

- Сто тысяч свиней! Найду тебя!..

Такой вправду найдет. Станет выстукивать деревяшкой по каменным полам всю ночь, пока не доберется до ее келийки, и никто не придет на помощь, и воевода ее не будет ведать о том, что случится, не прибежит, не защитит, не взмахнет, скособочась, мечом. Растерянная и устрешенная, зажгла свечу, пошла в ложницу Евпраксии, теперь вот разбудила княжну, навыв-

думывала что-то про две свечки, мол, в честь прибытия императора, а у самой все содрогалось от темного предчувствия.

– Посижу немного возле тебя, – попросилась она. – Потому как спать не могу, тревога какая-то в сердце, темно вокруг, все чужое нам.

– А мне снился ангел, и руки у него светились, – сказала, радостно улыбаясь, Евпраксия. – Спала или не спала – не знаю. Твои руки светились.

От свечки.

– Ты чистотой светишься, дите мое, вот и снится тебе такое.

– Нет. Часто мне снятся страхи... И Киев тоже снится. И твои песни грустные слышу сквозь сны. Чаще всего та: «буду степью брести, как голубка, ворковать...»

Остаток ночи они провели меж сном и бодрствованием. Журина все глубже погружалась в тревогу, готова была еще до рассвета бежать в город, к жилью дружинников, разбудить Кирпу, рассказать ему обо всем, что случилось. А Евпраксия воображала себя далеко-далеко отсюда, видела и не видела Журину, слышала и не слышала ее приглушенный голос, что-то другое виделось и слышалось ей, сердце ждало чего-то, она удивлялась, почему медлит утро, будто новое утро должно было изменить всю ее жизнь, покончить с этой жизнью, в монастыре, чужой, расплывчато-неустановленной, ввергающей в отчаянье.

Утро пришло серое, холодное и безнадежное. Ключья мокрого тумана окутали аббатство, смешались с камнями – не разберешь, где туман, а где камень. Давило на душу, убивало желания и надежды, теперь хотелось вернуть ночь, сон, забытье.

И день был таким, как всегда, не принес ничего нового, аббатство в провалах густого тумана замерло, ждало, прислушивалось.

Не слышали ничего. И ничего не случилось. К Евпраксии не заглянули даже святые отцы. Журина не нашла Кирпы и растревожилась еще больше. В тумане над башнями Кведлинбурга отчаянно перекрикивались галки. Где-то по грязным вязким дорогам тянулись в Кведлинбург обозы с живностью, и мрачные крестьяне проклинали непогоду, императора и господ бога.

Император заперся во дворце, никому не показывался, никого не желал видеть, никого не подпускал к себе, никого не выпускал и не отпускал от себя. Как же вырвался от него сразу первой ночью Забуш? А может, его и не было? Может, то привидение предстало Журине? Ведь больше никто в аббатстве не поминал про барона. Спросить? У кого? Да и надо ли?

Минул еще день и еще несколько дней, и ничего не происходило, и для Евпраксии дни после приезда императора были длинней всех прежних лет ожидания и тоски на чужбине, а для Журины они становились все невыносимей, тревога не угасала, делалась все больше и острее.

И неожиданно извещают: император обедает у аббатисы Адельгейды.

Приглашены епископ, аббаты, будут бароны и графы, на императорский обед приглашена Евпраксия, возможно, единственная из благородных воспитанниц.

Потому ли, что никто из них не мог сравниться с ней происхождением?

Она была в черном, тонкая, высокая, такая юная, что казалась в окружении всех остальных просто девчоночкой. И все были в черном: у императора – траур. Никакой пышной встречи – по той же причине: траур.

Генрих слез с коня возле ворот, быстро пересек двор, ни на кого не глядя, сбросил кому-то на руки тяжелый отсыревший мех, остался в черном одеянии, без всяких знаков императорского достоинства, кроме толстой золотой цепи на впалой груди, и эта цепь словно гнула его высокую фигуру, заставляла опускать лицо, обросшее рыжеватым волосом, а может, то делали годы, потому что Генриху было ведь чуть ли не столько же лет, сколько и великому князю Всеволоду, годился бы Евпраксии в отцы.

Генрих императорствовал уже тридцать лет. Трудно себе представить, как долго. И хотя то были годы не легкие, не веселые, хотя протягивалось множество рук к его короне, хотя

проклинали его со многих амвонов и даже в Риме, но пробыть тридцать лет на такой высоте, в таком одиночестве?..

В нем перемешалось все: суеверия времени и собственные, привычка и потребность властвовать, умение признать неизбежное, напускная неприступность, наигранное величие, упорство, зазнайство, недоверие, подозрительность. Он никогда не оглядывался назад, смотрел только перед собой, взгляд у него был тяжелый, падал сверху вниз, подавлял и раздавливал, никто не смел выдерживать этот взгляд, кто ж выдерживал – должен неминуемо погибнуть. Да и видел ли на самом деле император что-нибудь и кого-нибудь? Трудно сказать. За долгие годы научился смотреть как бы мимо того, на что смотрит, но украдкой умел высматривать что нужно, замечал немало такого, что хотели спрятать – например, женские глаза.

Правда, в последнее время пришло тревожное ощущение – совсем не тянет уже заглядывать в женские глаза. Они раздражают, и всякий раз всплывает:

«Зачем?» Забушу твердо приказал насчет женщин: «Презирать!» Тот зло шутил на попойках баронских: «Император объелся свежатиной, перешел на солонину!»

Адельгейда вздумала было приветствовать императора высокотожественными словами, но он нетерпеливо отмахнулся:

– Знаешь ведь – не люблю бессмысленных кликов. «Аллилуйя», «осанна»... – оставь для своих епископов.

Аббатиса несмело спросила, не помолится ли император в церкви Святого Серватиуса. Генрих ответил, что не пойдет.

– Но почему же, ваше императорское величество?

– Спроси у Забуша, – насмешливо бросил Генрих. – Он скажет тебе, кто бог – это сто тысяч свиней!

Все ветры и дымы Европы были в его рыжеватой бороде. Он стремился казаться оскорбительно-грубым, чтобы отпугнуть от себя души низкие и ограниченные, чем как-то сразу понравился Евпраксии. Она понимала его раздраженность и эту вот утомленную его сутулость. Такое – от печального величия. А печальное потому, что не надобно ему самому. Другим – да, ему – нет.

Так смотрела Евпраксия на Генриха, таким увидела его своими серыми глазами, и он натолкнулся на эти глаза, потому что дерзости в них было больше, чем у него самого. Он не вдруг сообразил, кто это, что это перед ним такое. Повел взглядом снизу вверх. Ноги, волосы... Волосы выбиваются золотыми прядями из-под черной накидки; ноги, фигура – стройные, ладные, существо это – девушка чужая, появилась тут словно воплощенная обида его императорскому достоинству, словно раздражающий вызов ему, намек на что-то.

Император спросил невыразительно, без радости и гнева:

– Кто такая?

Адельгейда подвела Евпраксию. Та поклонилась. Вежливо, без преклонения. Дерзка, дерзка! Нужно тотчас же наказать умалением, пренебрежением, но тут же он подумал: иметь перед глазами такое создание не лучше ль, чем смотреть каждый день на баронов с невымытыми ушами.

Жалостно и утрашенно мелькнуло: стар, ох как стар он. Розы не пахнут, псы не лают, жены не любят, любовь остыла, зло побеждает.

Он взглянул на Евпраксию искоса, почти украдкой. Ее глаза подплывали к нему, словно два серых длиннокрылых птаха.

Генрих протянул княжне руку.

– Будете за столом моей дамой. Германский император знать не хочет ничего германского. К тому же мы оба в трауре. Примите мои соболезнования.

Маркграф был мне верным слугой.

– Я ничего не знаю об императрице, – ответила Евпраксия.

– Она умерла.  
– Ах, это, вероятно, очень печально.  
– Вероятно? – Генрих не вдруг опомнился от такой наивности. – Вероятно?.. Смерть – это хуже, чем сто тысяч свиней, как говорит Заубуш!

Нужно жить!

– А кто живет на этом свете? – тихо спросила девушка.

– Кто? Я живу! Заубуш живет! Все мы живы... пока живы!

– Многие мертвые живут и до сих пор, зато множество живых следует считать давно умершими. А кое-кто умирает, так и не родившись.

– Ты говоришь красиво, но крайне неудачно, Праксед. Не ведаешь, что значит – жизнь?

– Не ведаю.

– Должен бы называть ее «твоя непорочность», – подбросил Заубуш, надеясь развеселить императора. Но Генрих топнул ногой:

– Не смей!

И Адельгейда воспользовалась случаем, прошипела на Заубуша:

– Дьявол!

Тот пренебрежительно поморщился, небрежно заковыляв на своей деревяшке чуть не впереди императора, но умолк, не огрызаясь больше: очень хорошо знал нрав Генриха и почувствовал, что раздражать императора сегодня не стоит. Нужно переждать – вот и все. Император не способен на чем-нибудь сосредоточиться. Он подчинен своей изменчивости, быстрой смене настроений и мыслей.

Они пришли в монастырскую трапезную.

На столах – тяжелые серебряные блюда, золотая посуда для питья.

Копченые гуси, жаркое с хреном, каплуны в чесночном рассоле, перепелки, голуби, увенчанные маленькими коронами, лебеди, которых зажаривают целиком, теплое пиво, меды-вина, что будут литься, как вода на мельничные колеса. Вот сядет император за такой стол и забудет обо всем на свете.

Лишь о власти не забудет. Потому как все – в обладании властью, все прах, кроме власти, безграничной власти, она единственная придает смысл жизни, она оправдание жизни, ее праздник, ее восторг!

И словно в подтверждение мыслей Заубуша, Генрих, сядя после короткой молитвы епископа за стол между Евпраксией и Адельгейдой, сказал тихо, неизвестно к кому обращаясь:

– Я уже тридцать лет император!

## Летопись. Императорская

С малых лет утопал он в море человеческой ненадежности и неустойчивости. Хотя родился императором и короновался уже шестилетним (случай редкостный даже и по тем смутным временам), тяготел над ним страх затеряться в безбрежности государства и неисчислимости люда. Жизнь его, с детства несамостоятельная, грозно указывала на такую возможность, и он, повзрослев, начал лихорадочно искать собственных способов возвышения над толпой, над землями вассалов, над всей империей, ибо все, с чем доньше сталкивался, казалось шатким, неверным и слишком условным.

Не мог забыть, как на пышных ловах, устроенных архиепископом Адальбертом, Генрихов белый конь испугался зверя и понес прямо на всадников, что нагоняли кабанов со стороны. Генрих не удержался в седле, свалился на землю беспомощно и неуклюже, упал под копыта разгоряченных гоном коней; всадники ничего не могли поделать с разъяренными животными, и кони, не разбирая, кто император, кто простой человек, промчались над поверженным Генрихом, и громадные копыта поднимались и опускались над ним, падало небо, он проваливался в смерть, он мог быть растоптан десять и сто раз, уничтожен без следа, превращен в расплюснутую лепешку окровавленного мяса. Но случилось так, что лишь два или три раза его задело копытом, порвало одежду, поцарапало бок – и все. Адальберт возблагодарил бога за чудо, император хмуро подумал о той неуловимой грани, которая только что отделяла его от смерти.

В другой раз с ним приключилось нечто такое, о чем он никому не рассказывал, потому что было в том больше позора, чем опасности.

Приключилось в пору, которую клирик Бруно, стремившийся к точности выражений, определяет так: «Когда Генрих, подобно невзнузданному коню, пустился что было духу по дороге разврата». Женатый уже в шестнадцатилетнем возрасте на Берте Савойской, «благородной и прекрасной», как назвал ее все тот же Бруно, Генрих заводил любовниц и наложниц по всей империи. Ежели узнавал он, что у кого-либо есть молодая и красивая дочь или жена, то, в случае неудачи с прельщением, велел «брат силой». У Генриха была привычка ночью в сопровождении одного или двух верных подручных отправляться на «охоту». И вот однажды его подстерегли лесные люди. Приятели божьи и недруги всему миру. Не знали, кто он, куда направляется, зачем и почему. Не знали и не хотели знать. Выскочили из-за темных деревьев, темные и неуловимые, все одинаковые, как муравьи, зароились, засуетились, завертелись, в мгновение ока стащили с коней императора и его ослабшего спутника, который даже меча не успел обнажить, сорвали с обоих оружие, украшения, одежду. Тот дурень наконец пробормотал, что люди эти будут тяжело наказаны, потому что перед ними сам император.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.